ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Тридцатилетняя женщина



Тридцатилетняя женщина

Оноре де Бальзак

Аннотация
Оноре де Бальзак. Тридцатилетняя женщина
I. Первые ошибки
II. Неведомые муки
III. В тридцать лет
IV. Перст божий
V. Две встречи
VI. Старость преступной матери

Аннотация

Роман, который прославил Бальзака и сделал общеупотребительным выражение «бальзаковский возраст».

С одной стороны, это изящное и нежное повествование о любви в ее наивысших проявлениях. С другой – реквием по супружеской жизни. Жюли – незаурядная, независимая и свободная в проявлении чувств женщина. Из-за безразличия и холодности мужа она прощается с юношескими иллюзиями и разочаровывается в браке. Ведь «нас чаще губят не сами горести, а потерянные надежды». И какой выбор сделать, когда на одной чаше весов тягостная узаконенная любовь, а на другой – преступная страсть?

Все познавшая и все постигшая женщина имеет высшее право на счастье. Сотни тысяч женщин обрели в Бальзаке врача, ведь он извиняет любой их неверный шаг, если только шаг этот совершен из любви.

Оноре де Бальзак
Тридцатилетняя женщина

Посвящается Луи Буланже,
художнику

Honoré de Balzac
LA FEMME DE TRENTE ANS
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

I
Первые ошибки

В начале апреля 1813 года выдалось воскресное утро, сулившее чудесный день. В такой день парижане впервые после зимней непогоды видят сухие мостовые и безоблачное небо. Около полудня изящный кабриолет, запряженный парой резвых лошадей, свернул с улицы Кастильоне на улицу Риволи и остановился за вереницей экипажей, у решетки, недавно возведенной возле площадки Фельянов. Правил этой легонькой коляской человек, лицо которого носило печать забот и недуга; проседь в волосах, уже редких на темени, отливавшем желтизною, раньше времени старила его; он бросил повод верховому лакею, сопровождавшему коляску, и сошел, чтобы помочь спуститься прехорошенькой девушке, которая сразу привлекла внимание праздных зрителей. Девушка, ступив на край коляски, обвила руками шею своего спутника, и он перенес ее на тротуар так бережно, что даже не помял отделку на ее зеленом репсовом платье. Влюбленный и тот не проявил бы такой заботливости.

Незнакомец, очевидно, был отцом девушки; не поблагодарив, она непринужденно взяла его под руку и порывисто повлекла в сад. Старик заметил, с каким восхищением смотрят молодые люди на его дочь, и грусть, омрачавшая его лицо, на миг исчезла. Он улыбнулся, хотя уже давно вступил в тот возраст, когда приходится довольствоваться одними лишь призрачными радостями, доставляемыми тщеславием.

— Все думают, что ты моя жена, — шепнул он на ухо девушке и, выпрямившись, зашагал еще медленнее, что привело ее в отчаяние.

Он, видимо, гордился своей дочкой, и его, пожалуй, даже более, чем ее, тешили взоры мужчин, скользившие украдкой по ее ножкам в темно-коричневых прюнелевых туфельках, по хрупкой фигурке, которую облегало изящное платье с вставкой, и по свежей шейке, выступавшей из вышитого воротничка. Поступь девушки была стремительна, оборки ее платья то и дело взлетали, на миг показывая округлую линию точеной ноги в ажурном шелковом чулке. И не один франт обогнал эту чету, чтобы полюбоваться девушкой, чтобы еще раз взглянуть на юное личико в рамке разметавшихся темных кудрей; оно казалось еще белее, еще румянее в отсветах розового атласа,

которым был подбит ее модный капор, а отчасти и от того страстного нетерпения, которым дышали все черты прелестного лица. Милое лукавство оживляло прекрасные черные глаза ее — глаза с миндалевидным разрезом и красиво изогнутыми бровями, осененные длинными ресницами и блестевшие влажным блеском. Жизнь и молодость выставляли напоказ свои сокровища, будто воплощенные в этом своенравном личике и в этом стане, таком стройном, несмотря на пояс, повязанный по тогдашней моде под самой грудью. Девушка, не обращая внимания на поклонников, с какой-то тревогой смотрела на дворец Тюильри — разумеется, к нему-то и влекло ее так неудержимо. Было без четверти двенадцать. Час был ранний, но множество женщин, стремившихся ослепить всех своими нарядами, уже возвращались от дворца, то и дело оборачиваясь с недовольным видом, точно они раскаивались, что опоздали, что не удастся им насладиться зрелищем, которое так хотелось видеть. Прекрасная незнакомка подхватила на лету несколько замечаний, с досадою оброненных разряженными дамами, и они почему-то очень взволновали ее. Старик следил скорее проницательным, нежели насмешливым взглядом за тем, как выражение

страха и нетерпения сменяется на милом личике его дочери, и, пожалуй, даже чересчур пристально наблюдал за нею: в этом сквозила затаенная отцовская тревога.

То было тринадцатое воскресенье в 1813 году. Через день Наполеон отправлялся в тот роковой поход, во время которого ему суждено было потерять Бесьера, а за ним — Дюрока, выиграть достопамятные битвы при Люцене и Бауцене, увидеть, что его предали Австрия, Саксония, Бавария, Бернадотт, и упорно защищаться в жестоком сражении под Лейпцигом. Блестящему параду под командованием императора суждено было стать последним в череде парадов, так долго приводивших в восхищение парижан и чужеземцев. Старая гвардия в последний раз собиралась показать искусство маневров, великолепие и точность которых иной раз изумляли даже самого исполина, готовившегося в те дни к поединку с Европой. Нарядную и любопытную толпу привлекало в Тюильри грустное чувство. Каждый словно предугадывал будущее и, быть может, предвидел, что не раз воображение воспроизведет в памяти всю эту картину, когда героические времена Франции приобретут, как это случилось ныне, почти легендарный оттенок.

— Ну, пойдемте же скорее, папенька! — бойко говорила девушка, увлекая за собой старика. — Слышите: бьют в барабаны.

— Войска входят в Тюильри, — отвечал он.

— Или уже прошли церемониальным маршем!.. Все уже возвращаются! — промолвила она тоном обиженного ребенка, и старик улыбнулся.

— Парад начнется лишь в половине первого, — заметил он, еле поспевая за неугомонной дочкой.

Если бы вы видели, как девушка взмахивала правой рукой, то сказали бы, что она помогает себе бежать. Ее маленькая ручка, затянутая в перчатку, нетерпеливо комкала носовой платок и напоминала весло, рассекающее волны. Старик порою улыбался, но иногда его изможденное лицо становилось хмурым и озабоченным. Из любви к этому прекрасному созданию он не только радовался настоящему, но и страшился будущего. Он словно говорил себе: «Нынче она счастлива, будет ли она счастлива всегда?» Старики вообще склонны награждать своими горестями будущее людей молодых. Отец и дочка вошли под перистиль павильона, по которому снуют гуляющие, проходя из Тюильрийского сада на площадь Карусели, и здесь, у павильона, в тот

час украшенного развевавшимся трехцветным флагом, они услышали суровый окрик часовых:

— Проход закрыт!

Девушка поднялась на цыпочки, и ей удалось мельком увидеть лишь толпу нарядных женщин, расположившихся вдоль старинной мраморной аркады, откуда должен был появиться император.

— Вот видите, отец, мы опоздали!

Губы у нее горестно сжались — было ясно, что для нее очень важно присутствовать на параде.

— Что ж, вернемся, Жюли; ты ведь не любишь давки.

— Останемся, папенька! Я хоть посмотрю на императора, а то, если он погибнет в походе, я так его и не увижу.

Старик вздрогнул при этих словах, полных эгоизма; в голосе девушки слышались слезы; он взглянул на нее, и ему показалось, что под ее опущенными ресницами блеснули слезинки, вызванные не столько досадою, сколько теми первыми печалями, тайну которых нетрудно бывает постичь старику отцу. Вдруг Жюли вспыхнула, и из груди ее вырвалось восклицание, смысл которого не поняли ни часовые, ни старик. Какой-то офицер, бежавший к дворцовой лестни-

це, услышав этот возглас, с живостью обернулся, подошел к садовой ограде, узнал девушку, на миг заслоненную большими медвежьими шапками гренадеров, и тотчас же отменил для нее и для ее отца приказ, запрещавший проход, — приказ, который сам и отдал; затем, не обращая внимания на ропот нарядной толпы, осаждавшей аркаду, он нежно привлек к себе просиявшую девушку.

— Теперь меня не удивляет, почему она так сердилась и так спешила, — оказывается, ты на дежурстве, — сказал старик офицеру полушутя-полусерьезно.

— Сударь, — отвечал молодой человек, — если вам угодно расположиться поудобнее, не стоит терять времени на разговоры. Император ждать не любит; все готово, и фельдмаршал поручил мне доложить об этом его величеству.

Говоря так, он с дружеской непринужденностью взял Жюли под руку и быстро повел к площади Карусели. Жюли с удивлением увидела, что густая толпа затопила все небольшое пространство меж серыми стенами дворца и тумбами, соединенными цепями, которые начертили посреди двора Тюильри огромные квадраты, посыпанные песком. Кордону часовых, охранявшему путь императора и его штаба, было

нелегко устоять под натиском нетерпеливой толпы, жужжавшей словно пчелиный рой.

— Будет очень красиво, не правда ли? — спросила Жюли, улыбаясь.

— Осторожнее! — крикнул офицер и, обхватив девушку своей сильной рукой, быстро приподнял ее и перенес к колонне.

Если б офицер не проявил такой стремительности, его любопытную родственницу сбил бы с ног, подавшись назад, белый конь под зеленым бархатным чепраком, затканным золотом; его держал под уздцы наполеоновский мамелюк почти у самой арки, шагах в десяти позади лошадей, оседланных для высокопоставленных офицеров из свиты императора. Молодой человек нашел место отцу и дочери у первой тумбы справа, напротив толпы, и кивком поручил их двум старым гренадерам, между которыми они очутились. Офицер шел во дворец со счастливым и радостным видом, с его лица исчезло испуганное выражение, появившееся на нем, когда конь стал на дыбы. Жюли украдкой пожала ему руку — то ли в знак благодарности за услугу, которую он только что оказал ей, то ли словно говоря ему: «Наконец-то я вас вижу!» Она слегка склонила голову в ответ на почтительный поклон, который

отвесил офицер ей и ее отцу, перед тем как уйти. Старик, очевидно, нарочно оставивший молодых людей, все стоял с задумчивым и строгим видом чуть позади дочери; он тайком наблюдал за нею, хоть и старался не смущать ее, прикидываясь, будто всецело поглощен тем великолепным зрелищем, которое представляла собою площадь Карусели. Когда Жюли взглянула на отца, словно школьница, робеющая перед учителем, старик ответил ей добродушной и веселой улыбкой; однако он не спускал сверлящего взгляда с офицера, пока тот не исчез за аркадой, — ни одна мелочь в этой короткой сценке не ускользнула от него.

— Как красиво! — вполголоса промолвила Жюли, пожимая руку отца.

Действительно, площадь Карусели являла собою в тот миг живописную и величественную картину, и из тысячеустой толпы зрителей, лица которых выражали восхищение, вырвалось такое же восклицание. Люди теснились и там, где стоял старик с дочерью, и напротив них, на узкой полосе мостовой вдоль решетки, отделяющей Тюильри от площади Карусели. Толпа, пестревшая женскими нарядами, казалась яркой каймой по краям огромного четырехугольника, вырисованного дворцовыми зданиями и недавно

возведенной решеткой. Полки старой гвардии, готовые к смотру, заполняли все это обширное пространство и были построены прямо против дворца голубыми широкими линиями в десять рядов. По ту сторону ограды и на площади Карусели параллельно им в линейку стояло несколько пехотных и кавалерийских полков, которые должны были пройти церемониальным маршем под триумфальной аркой, воздвигнутой на самой середине решетки; на верхушке арки в те времена виднелись великолепные кони, вывезенные из Венеции. Полковые оркестры, расположенные у Луврской галереи, были заслонены отрядом польских улан. Почти вся обширная четырехугольная площадь, засыпанная песком, была пуста; она предназначалась для безмолвного передвижения войск, симметрично построенных по всем правилам военного искусства; солнечные зайчики отражались и вспыхивали огнями в десяти тысячах трехгранных штыков. Султаны на солдатских касках, колыхаясь по ветру, клонились, будто лес под порывами урагана. Безмолвные яркие шеренги старых вояк радовали взор великим множеством всевозможных цветов и оттенков, ибо различны были мундиры, выпушки, аксельбанты и оружие. Эта необъятная картина, во

всех своих деталях, во всем своем своеобразии представлявшая собою в миниатюре поле битвы перед сражением, была живописно обрамлена высокими, величественными зданиями, неподвижности которых, казалось, подражали и офицеры и солдаты.

Зритель невольно сравнивал стены, словно возведенные из людей, со стенами, возведенными из камня. Солнце, щедро лившее свет на белые стены, отстроенные недавно, и на стены, простоявшие века, ярко освещало несметные ряды выразительных смуглых лиц, которые безмолвно повествовали об опасностях минувших, о стойком ожидании опасностей грядущих. Одни лишь командиры прохаживались перед своими полками, состоявшими из испытанных воинов. А дальше, позади войсковых соединений, сверкавших серебром и золотом, отливавших лазурью и пурпуром, любопытные могли приметить трехцветные флажки на пиках шести неутомимых польских кавалеристов, которые, подобно сторожевым псам, что бегают вокруг стада на выгонах, без передышки скакали меж войсками и зрителями, не позволяя посторонним переступить узкую полоску, отведенную для публики перед дворцовой решеткой.

Не будь их, вы бы, пожалуй, вообразили, что очутились во владениях спящей красавицы. Под вешним ветром шевелился длинный ворс на меховых шапках гренадеров, и это подчеркивало неподвижность солдат, а глухой рокот толпы делал их молчание еще строже. Порою звенели колокольчики в оркестре да гудел случайно задетый турецкий барабан, и эти звуки, отдавшись глухим эхом в императорском дворце, напоминали отдаленные громовые раскаты, предвещающие грозу. Что-то неописуемо восторженное чувствовалось в ожидании толпы. Франция готовилась к прощанию с Наполеоном накануне кампании, опасность которой предвидел каждый. На этот раз дело шло о самой Французской империи, о том, быть ей или не быть. Мысль эта, казалось, волновала и штатских и военных, волновала всю толпу, в молчании теснившуюся на клочке земли, над которым реяли наполеоновские знамена и его гений. Солдаты эти — оплот Франции, последняя капля ее крови — вызывали тревожное любопытство зрителей. Большинство горожан и воинов, быть может, прощались навеки; но все сердца, даже полные вражды к императору, обращали к нему горячие мольбы о славе Франции. Даже люди, измучен-

ные борьбой, завязавшейся между Европой и Францией, отбросили ненависть, проходя под Триумфальной аркой, и понимали, что в грозный час Наполеон — олицетворение Франции. Дворцовые куранты пробили полчаса. Толпа тотчас же умолкла; водворилась такая глубокая тишина, что был слышен и лепет ребенка. До старика и его дочери, для которых сейчас ничего не существовало, кроме картины, представшей их взорам, из-под гулких сводов перистиля донесся звон шпор и бряцание сабель.

И вдруг показался довольно тучный невысокий человек в зеленом мундире, белых лосинах и ботфортах, в неизменной своей треугольной шляпе, обладавшей такою же притягательной силой, как и он сам; на груди его развевалась широкая красная лента ордена Почетного легиона, сбоку висела маленькая шпага. Император был замечен всеми и сразу на всех концах площади. И тотчас же забили «поход» барабаны, оба оркестра грянули одну и ту же музыкальную фразу, воинственную мелодию подхватили все инструменты от нежнейших флейт до турецкого барабана. При этом мощном призыве сердца затрепетали, знамена склонились, солдаты взяли на караул, единым и точным движением вскинув

ружья во всех рядах. От шеренги к шеренге, будто эхо, прокатились слова команды. Возгласы: «Да здравствует император!» — потрясли воодушевленную толпу. Вдруг все тронулось, дрогнуло, всколыхнулось. Наполеон вскочил на коня. Движение это вдохнуло жизнь в немую громаду войск, наделило музыкальные инструменты звучанием, взметнуло в едином порыве знамена и стяги, взволновало лица. Стены высоких галерей старинного дворца, казалось, тоже возглашали: «Да здравствует император!» В этом было что-то сверхъестественное, то было какое-то наваждение, подобие божественного могущества, или, вернее, мимолетный символ этого мимолетного царствования. Человек этот, средоточие такой любви, восхищения, преданности, стольких чаяний, ради которого солнце согнало тучи с неба, сидел верхом на коне шага на три впереди небольшого эскорта из приближенных в расшитых золотом мундирах, с обер-гофмаршалом по левую руку и дежурным маршалом по правую. Ничто не дрогнуло в лице этого человека, взволновавшего столько душ.

— Ну конечно, бог ты мой! При Ваграме под пулями, под Москвой среди трупов он-то всегда невозмутим.

Так отвечал на многочисленные вопросы гренадер, стоявший рядом с девушкой. Она же на миг вся ушла в созерцание императора, спокойствие которого выражало нерушимую уверенность в собственном могуществе. Наполеон заметил мадемуазель де Шатийоне; наклонившись к Дюроку, он что-то отрывисто сказал, и обер-гофмаршал усмехнулся. Маневры начались. До сих пор внимание девушки раздваивалось между бесстрастным лицом Наполеона и голубыми, зелеными и красными рядами войск; теперь же она почти не сводила глаз с молодого офицера, следя за тем, как он то мчится на своем коне между отрядами старых солдат, двигающихся быстро и точно, то в неудержимом порыве словно летит к той группе, во главе которой блистает своею простотой Наполеон. Офицер этот скакал на превосходной лошади вороной масти, и его красивый мундир небесно-голубого цвета, мундир, отличавший адъютантов императора, выделялся на фоне пестрой толпы. Золотое шитье и позументы так ослепительно блестели на солнце, а султан его узкого высокого кивера отражал такой яркий сноп света, что зрители, должно быть, сравнивали его с блуждающим огоньком, с неким духом, получившим от императора пове-

ление оживлять, вести батальоны, сверкавшие оружием, когда по одному взгляду властелина они то расступались, то вновь соединялись, то кружились, как валы в морской пучине, то проносились перед ним, как те отвесные, высокие волны, что катит на берег бушующий океан.

Когда маневры закончились, офицер поскакал во весь опор и остановился перед императором в ожидании приказов. Теперь он был шагах в двадцати от Жюли, против императора и его свиты, и поза его очень походила на ту, какую Жерар придал генералу Раппу на картине «Сражение под Аустерлицем». Девушка сейчас вволю могла любоваться своим избранником во всем его воинском великолепии. Полковнику Виктору д'Эглемону было не более тридцати лет; он был высок, строен и сложен отлично, что особенно бросалось в глаза, когда он проявлял свою силу, управляя лошадью, изящная и гибкая спина которой словно подгибалась под ним. Его мужественное смуглое лицо обладало неизъяснимым очарованием, которое придает молодым лицам совершенная правильность черт. У него был широкий и высокий лоб. Брови у него были густые, ресницы длинные, и огненные глаза казались двумя светлыми овалами, обведенными

черными штрихами. Красива была линия его орлиного носа с горбинкой. Над алыми губами вились неизбежные черные усы. Смуглый румянец, игравший на его полных щеках, говорил о незаурядной силе. Это было лицо, отмеченное печатью отваги, и принадлежало оно к тому типу, который ныне пытается найти художник, задумав изобразить героя наполеоновской Франции. Взмыленный конь в нетерпении тряс гривой, но стоял на месте как вкопанный, расставив передние ноги и помахивая длинным густым хвостом; его преданность господину являла собою живое олицетворение той преданности, которую сам полковник д'Эглемон питал к императору. Жюли, видя, что ее возлюбленный только и думает, как бы поймать взгляд Наполеона, почувствовала досаду, вспомнив, что на нее-то он не посмотрел ни разу. Вот властелин что-то сказал, и Виктор, пришпорив коня, уже мчится галопом; но тень, отброшенная тумбой на песок, пугает коня, он растерянно пятится и вдруг встает на дыбы, и все это происходит так неожиданно, что всаднику, кажется, грозит опасность. Жюли вскрикивает, бледнеет; все оглядываются на нее с любопытством; она никого не видит, ее глаза прикованы к разгоряченному коню, которого на всем скаку

укрощает офицер, торопясь передать приказ императора. Эта волнующая картина так потрясла Жюли, что она безотчетно впилась пальцами в руку отца, невольно открывая ему свои мысли. В тот миг, когда лошадь чуть было не сбросила Виктора, Жюли так порывисто схватила руку отца, точно ей самой угрожала опасность. Старик вглядывался с мрачным беспокойством в сияющее личико дочери, в каждой его морщинке чувствовались отцовская ревность и тоска. Когда же глаза Жюли, горевшие лихорадочным блеском, вскрик ее и судорожные движения пальцев окончательно разоблачили тайную любовь ее, перед ним, очевидно, предстало печальное будущее дочери, ибо взор его стал угрюмым. В те мгновения душа Жюли как бы слилась с душою офицера. Страдальческое лицо старика помрачнело от какой-то мысли, еще более горестной, нежели все те, что так его тревожили: он увидел, что д'Эглемон, проезжая мимо, обменивается понимающим взглядом с Жюли, что глаза ее влажны, а щеки пылают необычайно ярким румянцем. Он внезапно повел дочь в Тюильрийский сад.

— Но ведь на площади Карусели еще стоят войска, отец, — говорила она, — они будут маневрировать.

— Нет, дитя мое, все войска уже проходят.

— Мне кажется, вы ошибаетесь, отец: господин д'Эглемон должен их повести…

— Мне нехорошо, деточка, и я не хочу оставаться.

Жюли трудно было не поверить отцу, когда она взглянула на его лицо: старик был совсем подавлен своими тревогами.

— Вам дурно? — спросила она безразличным тоном — так была она занята своими мыслями.

— Ведь каждый прожитый день для меня — милость, — ответил старик.

— Опять вам вздумалось наводить на меня тоску разговорами о смерти! Мне было так весело! Да прогоните же свои противные мрачные мысли!

— Ах, балованное дитя! — воскликнул, вздыхая, отец. — Даже наидобрейшие сердца бывают иногда жестоки. Значит, напрасно мы посвящаем вам свою жизнь, думаем лишь о вас, заботимся о вашем благе, жертвуем своими вкусами ради ваших причуд, обожаем вас, готовы отдать вам даже кровь свою! Увы! Все это вы беспечно принимаете. Надобно обладать всемогуществом господа бога, чтобы навсегда завоевать вашу улыбку и вашу пренебрежительную любовь. И вот является чужой! Возлюбленный, муж похи-

щает у нас ваше сердце.

Жюли удивленно взглянула на отца: он шагал медленно и порой смотрел на нее потухшими глазами.

— Вы даже таитесь от нас, а впрочем, может быть, и от себя.

— О чем вы говорите, отец?

— Жюли, ты, кажется, что-то скрываешь от меня. Ты влюблена, — с живостью продолжал старик, заметив, что дочка покраснела. — А я-то надеялся, что ты будешь верна своему старому отцу до самой его смерти, я-то надеялся, что ты будешь довольна и счастлива рядом со мной, что я буду любоваться тобою, той Жюли, какою ты была еще совсем недавно. Не ведая твоей судьбы, я еще мог мечтать о твоем будущем, но теперь уже не унести мне с собой надежду на счастье для тебя… Ты любишь в д'Эглемоне не кузена, а полковника. Сомнений больше нет.

— Отчего же мне нельзя любить его? — воскликнула девушка с выражением живейшего любопытства.

— Ах, Жюли, тебе не понять меня! — ответил, вздыхая, отец.

— Все равно, скажите, — возразила она своевольным тоном.

— Хорошо же, доченька, выслушай меня. Девушки частенько грезят благородными, восхитительными образами, какими-то идеальными существами, и головы их набиты туманными представлениями о людях, о чувствах, о свете; затем они в простоте души наделяют самого заурядного человека теми совершенствами, о которых мечтали, и доверяются ему: они любят в своем избраннике воображаемое создание, а в конце концов, когда уже поздно отвести от себя беду, обманчивое очарование, которым они наделили свой кумир, превращается в страшный призрак. Жюли, я бы предпочел, чтобы ты влюбилась в какого-нибудь старика, чем в полковника д'Эглемона. О, если б ты могла предвидеть, что станется с тобою лет через десять, ты бы воздала должное моей опытности! Виктора я знаю: он весел, но не остроумен, весел по-казарменному, он бездарен и расточителен. Таких людей небо сотворило лишь для того, чтобы они четыре раза в день плотно ели и переваривали пищу, спали, любили первую попавшуюся красотку и сражались. Жизни он не знает. По доброте сердечной — а сердце у него доброе — он, пожалуй, отдаст свой кошелек бедняку, приятелю; но он беспечен, но у него нет чуткости, которая делает нас рабами

счастья женщины; но он невежда, себялюбец… Есть много «но»…

— Однако ж, отец, он, стало быть, и умен, и талантлив, раз стал полковником…

— Милочка, Виктор всю свою жизнь проведет в полковниках. Я еще не встречал человека, на мой взгляд, достойного тебя, — возразил отец с каким-то одушевлением. Он умолк, посмотрел на дочь, потом продолжал: — Да, бедная моя Жюли, ты еще чересчур молода, чересчур бесхарактерна, чересчур мягка, ты не перенесешь всех горестей и тягот брака. Родители избаловали д'Эглемона так же, как мы с твоей матерью избаловали тебя. Нечего и надеяться, что вы поймете друг друга, ибо у каждого из вас свои причуды, а причуды — неумолимые тираны. Ты станешь либо жертвой, либо деспотом. И та и другая возможность в равной степени калечит жизнь женщины. Но ты кротка и скромна, ты сразу покоришься. Наконец, в тебе есть, — добавил он взволнованным голосом, — та тонкость чувства, которая не найдет отклика, и тогда…

Он не докончил, его душили слезы.

— Виктор оскорбит твою непорочную душу, — продолжал он, помолчав. — Я знаю военных, милое мое дитя: я жил среди них. Редко случается,

что сердце таких людей в силах восторжествовать над привычками, порожденными то ли опасностями, которые их подстерегают, то ли случайностями походной жизни.

— Так вы намерены, отец, — заметила Жюли полушутя-полусерьезно, — перечить моим чувствам и выдать меня замуж не ради моего счастья, а ради вашего!

— Выдать тебя замуж ради своего счастья?! — воскликнул отец удивленно, всплеснув руками. — Мне ли думать о счастье, дочь моя? Ведь скоро ты уже не будешь слышать моего дружеского брюзжания. Я всегда замечал, что дети приписывают эгоизму все жертвы, которые приносят им родители! Выходи за Виктора, моя девочка. Наступит день, и ты станешь горько сетовать на его ничтожество, на его безалаберность, себялюбие, грубость, его нелепые понятия о любви и на множество иных огорчений, какие он причинит тебе. Тогда вспомни, что под этими деревьями пророческий голос старого отца втуне взывал к твоему сердцу.

Старик умолк, заметив, что дочь упрямо качает головой. Она направилась к решетке, у которой их ждала коляска. Шли они молча, девушка украдкой поглядывала на отца, и с ее личика по-

степенно исчезало сердитое выражение. Старик опустил голову, и глубокая печаль, написанная на его лице, произвела на нее сильное впечатление.

— Обещаю вам, батюшка, — произнесла она кротким, дрогнувшим голосом, — не упоминать о Викторе до тех пор, покамест вы не отбросите свое предубеждение против него.

Старик удивленно взглянул на дочь. Слезы катились по его морщинистым щекам. Он не мог поцеловать Жюли на глазах толпы, теснившейся вокруг них, и только ласково пожал ой руку. Когда он сел в коляску, мрачные складки, бороздившие перед этим его лоб, разгладились. Унылый вид дочери не так тревожил его, как та невинная радость, тайную причину которой Жюли выдала во время парада.

В первых числах марта 1814 года — прошло меньше года после наполеоновского парада, — по дороге от Амбуаза к Туру мчалась карета. Она только что выехала из-под зеленых шатров ореховых деревьев, заслонявших почтовую станцию Фрильер, и понеслась так быстро, что мигом долетела до моста, перекинутого через Сизу в том месте, где она впадает в Луару, и вдруг остановилась. Оказалось, что лопнули постромки: по

приказанию ездока молодой возница слишком быстро гнал четверку могучих перекладных. Благодаря этой случайности два путника, ехавших в карете, проснулись и могли полюбоваться одним из самых красивых ландшафтов, какой только встретишь на пленительных берегах Луары. Направо перед взором путешественника — излучины реки Сизы, извивающейся серебристой змейкой среди лугов, в ту пору зеленевших первой весенней муравой. Слева видна величавая широкая Луара. Дул свежий утренний ветерок, вода почти сплошь была подернута рябью, и по ней рассыпали блестки солнечные лучи. Тут и там на водной глади растянулись цепочкой зеленые островки, будто изумруды в ожерелье. На другом берегу живописно раскинулись необозримые плодородные равнины Турени. Даль беспредельна, и только Шерские холмы, вершины которых в то утро четко вырисовывались в прозрачной лазури небес, преграждают путь взору. Смотришь сквозь нежную листву деревьев поверх островов на эту панораму, и кажется, что Тур, подобно Венеции, возникает из лона вод. Колокольни его древнего кафедрального собора устремляются ввысь — в тот час они сливались с причудливо очерченными белыми облачками. С того места,

где остановилась карета, путешественнику видна гряда скал, протянувшаяся вдоль Луары до самого Тура, и ему представляется, что природа нарочно возвела ее, чтобы укрепить берег реки, волны которой беспрерывно подтачивают камень; картина эта всегда приводит путника в изумление. Деревенька Вувре ютится среди оползней в ущелье скалистой гряды, образующей изгиб у моста через Сизу. А дальше, от Вувре до Тура, опасные, неровные уступы этого выветренного горного кряжа заселены виноградарями. В иных местах дома в три яруса выдолблены в скале и соединены головокружительными лестницами, тоже высеченными в камне. Вот девушка в красной юбке бежит прямо по крыше к себе в сад.

Дым из очага вьется между виноградными лозами и молодыми побегами. Арендаторы возделывают поля, разбросанные по крутизне. Старуха спокойно сидит за прялкой на обломке рухнувшей глыбы под цветущим миндальным деревом и наблюдает за пешеходами, посмеиваясь над их ужасом. Ее не тревожат ни трещины в земле, ни то, что вот-вот обвалится нависшая ветхая стена, каменную кладку которой теперь поддерживают лишь узловатые корни плюща, ковром закрывшего стену. Под сводами пещер гулко раздается стук

молотков: то работают бондари. Каждый клочок земли возделан, почва плодородна, хотя природа здесь и отказала человеку в земле. По всему течению Луары не найти уголка, который мог бы сравниться с тем роскошным ландшафтом, что открывается отсюда взору путника. Три плана этой панорамы, описанной тут лишь вскользь, производят на душу неизгладимое впечатление, а если насладился ими поэт, то потом, в грезах, они часто будут ему представляться словно наяву, со всем своим несказанным романтическим обаянием. В тот миг, когда карета въехала на мост через Сизу, несколько лодок с белыми парусами стайкой выплыли из-за островков на Луаре, и это еще больше украсило прелестный пейзаж. Ивы, растущие вдоль реки, благоухали, и влажный ветерок разносил их терпкий запах. Слышалось разноголосое пение птиц; унылая песенка пастуха навевала тихую печаль, а крики лодочников возвещали о том, что где-то поодаль кипит жизнь. Легкие хлопья тумана, прихотливо повисшие на деревьях, разбросанных по долине, завершали эту чудесную картину, придавая ей какое-то особенное очарование. То была Турень во всей своей красе, то была весна во всем своем великолепии. Только в этой части Франции — в

единственном месте, покой которого не суждено было нарушить иностранным войскам, только здесь и было тихо, и казалось, что Турень не боится вторжения.

Экипаж остановился, и сейчас же из окна высунулась чья-то голова в фуражке; какой-то военный резким движением распахнул дверцы кареты и выскочил на дорогу, разумеется, намереваясь отчитать возницу, но туренец так умело чинил постромку, что полковник — это был граф д'Эглемон — успокоился и подошел к дверце экипажа, потягиваясь и расправляя затекшие руки; он зевнул и, оглядев окрестности, тронул за плечо молодую женщину, заботливо укутанную в меховую шубу.

— Проснись, Жюли, — сказал он охрипшим голосом, — погляди. Великолепный вид!

Жюли выглянула из кареты. На ней была кунья шапочка, а складки меховой шубки, в которую она куталась, совсем скрывали ее фигуру, виднелось только лицо. Жюли д'Эглемон уже не была похожа на ту веселую, счастливую девушку, что так спешила на парад в Тюильри. Уже не было на ее щеках, по-прежнему нежных, тех розовых красок, которые когда-то придавали им такую свежесть. Несколько черных прядок, развивших-

ся от ночной сырости, подчеркивали матовую белизну ее лица, живость которого угасла. Однако взор ее горел каким-то странным огнем, а под глазами, на впалых щеках, лежали синеватые тени. Она с безразличным видом оглядела равнины Шера, Луару и островки на ней, Тур и длинную цепь скал Вувре, потом, даже не взглянув на восхитительную долину Сизы, отпрянула в глубь кареты, и ее слабый голос прозвучал на открытом воздухе чуть слышно:

— Да, чудесный вид!

Она, следовательно, на свое несчастье, одержала верх над отцом.

— Жюли, тебе не хотелось бы жить здесь?

— Не все ли равно, где жить, — безучастно заметила она.

— Тебе нездоровится? — спросил полковник д'Эглемон.

— Да нет же, — ответила молодая женщина, сразу оживившись. Она улыбнулась, посмотрела на мужа и добавила: — Просто спать хочется.

Вдруг раздался стук копыт: кто-то мчался галопом. Виктор д'Эглемон выпустил руку жены и обернулся, глядя на дорогу, в ту сторону, где она делает поворот. Лишь только полковник отвел взгляд от Жюли, веселое выражение исчезло с ее

бледного лица, будто его перестал освещать какой-то внутренний свет. Ей не хотелось смотреть на пейзаж, не хотелось знать, что это за всадник, чей конь скачет так неистово; она забилась в уголок и без мыслей, без чувств устремила неподвижный взгляд на лошадей. У нее был такой же тупой вид, какой бывает у бретонского крестьянина, когда он слушает проповедь священника. Вдруг из тополевой рощи и зарослей цветущего боярышника показался молодой человек на породистом коне.

— Это англичанин, — произнес полковник.

— Ей-богу, верно, ваше сиятельство, — заметил возница. — Знаем мы этих молодчиков, они так и норовят сожрать Францию.

Незнакомец был одним из тех путешественников, которые находились на континенте в ту пору, когда Наполеон велел арестовать всех англичан; то было возмездие за посягательство на права французов, допущенное английским правительством при разрыве Амьенского договора. По прихоти императора пленники, однако, не остались в тех краях, где они были задержаны или где им сначала разрешили жить по их выбору. Большинство англичан было переправлено с разных концов империи в Турень, ибо считалось,

что их пребывание в других местностях может повредить интересам континентальной политики. Молодой пленник, старавшийся рассеять в то утро свой сплин, был жертвой этого бюрократического мероприятия. Два года назад по милости Министерства внешних сношений ему пришлось расстаться с мягким климатом Монпелье, где его застал разрыв мирного договора и где он искал исцеления от болезни легких. Как только молодой человек распознал в графе д'Эглемоне военного, он поспешно перевел взгляд и, резко отвернувшись, стал смотреть на луга, раскинувшиеся вдоль Сизы.

— Пренагло ведут себя эти англичане: воображают, будто весь земной шар принадлежит им! — проворчал полковник. — Погодите, Сульт задаст им жару.

Пленник проскакал мимо кареты и заглянул в нее. Взгляд был мимолетен, но англичанина поразило печальное выражение на задумчивом лице графини, придававшее ей неизъяснимое очарование. Нередко встречаются мужчины, которых глубоко трогает страдальческий вид женщины; им кажется, что печаль — порука постоянства в любви. Жюли задумалась, глядя в одну точку, и не обратила внимания ни на коня, ни на всад-

ника. Постромку починили быстро и прочно. Граф сел в карету. Возница, стараясь наверстать потерянное время, мчал путешественников по насыпи, тянувшейся вдоль нависших скал, над которыми по склону горы зреет виноград, лепится столько прелестных домиков и видны развалины знаменитого монастыря Мармутье, обители св. Мартина.

— Что нужно этому тщедушному лорду! — воскликнул полковник, обернувшись и заметив, что всадник, скачущий за каретой от самого моста, — тот самый молодой англичанин, которого они уже повстречали.

Незнакомец не нарушал приличий — он ехал по самому краю насыпи, поэтому полковник, бросив на англичанина угрожающий взгляд, откинулся на спинку сиденья. Но, несмотря на неприязненное чувство, он отметил про себя, что лошадь красива, а всадник ловок. Молодой человек был из породы тех британцев, лица которых отличаются белой, холеной кожей и до того нежным румянцем, что иной раз так и хочется спросить: а не лицо ли это какой-нибудь хрупкой девицы? Он был белокур, высок и строен; на его костюме лежал тот отпечаток изысканности и аккуратности, который присущ щеголям чо-

порной Англии. Краснел он, глядя на графиню, пожалуй, скорее от застенчивости, нежели от приятного волнения. Жюли всего лишь раз бросила взгляд на незнакомца, да и то ее чуть не принудил к этому муж, который хотел, чтобы она полюбовалась чистокровной лошадью. Глаза Жюли встретились тогда с глазами робкого англичанина. С этой минуты всадник уже не скакал рядом с каретой, а следовал за ней на некотором расстоянии. Графиня еле взглянула на незнакомца. Она не обратила внимания ни на породистого коня, ни на внешность всадника, о которых ей толковал муж, и откинулась на сиденье, чуть поведя бровью в знак согласия. Полковник снова заснул; супруги доехали до Тура, не обменявшись ни словом, и ни разу восхитительные пейзажи, расстилавшиеся вокруг, не привлекли внимания Жюли. Пока г-н д'Эглемон дремал, она подолгу всматривалась в него. Когда же она взглянула на него в последний раз, карету подбросило, медальон, висевший на черной ленточке, повязанной вокруг шеи молодой женщины, упал к ней на колени, и перед Жюли вдруг предстало лицо ее отца. Из глаз ее хлынули долго сдерживаемые слезы. Ветер осушил их, но англичанин, вероятно, заметил влажные и блестящие следы слез на

бледных щеках графини. Полковник д'Эглемон, посланный императором с приказом к маршалу Сульту, которому должно было защитить Францию от вторжения, предпринятого англичанами в Беарне, воспользовался поручением, чтобы избавить жену от опасностей, угрожавших в те дни Парижу, и вез ее в Тур к своей старой родственнице. Вскоре карета въехала в город, покатила по мосту, потом по Главной улице и остановилась у старинного особняка, где жила бывшая маркиза де Листомэр-Ландон.

Маркиза де Листомэр-Ландон была одной из тех красивых, бледных, седовласых, улыбающихся тонкой улыбкой старух, которые украшают голову неслыханными чепцами и, кажется, еще носят фижмы. Эти старые дамы, семидесятилетние портреты эпохи Людовика XV, почти всегда ласковы, будто сердца их еще способны любить, не так благочестивы, как набожны, и не так набожны, как это кажется; от них всегда веет запахом пудры «Марешаль»; они отлично рассказывают, а еще лучше беседуют и охотнее смеются какому-нибудь воспоминанию, чем шутке. Современность им по душе.

Когда старая горничная доложила маркизе (скоро ей должны были вернуть титул) о при-

езде племянника — а они не виделись с самой испанской войны, — она поспешно сняла очки, захлопнула «Галерею старого двора», свою любимую книгу, затем с удивительным для ее лет проворством спустилась на крыльцо — как раз в тот миг, когда Жюли с мужем поднимались по ступеням.

Тетка и племянница обменялись быстрыми взглядами.

— Здравствуйте, дорогая тетушка, — крикнул полковник, порывисто обнимая и целуя старуху. — Я привез вам одну молодую особу. Возьмите ее под свое крылышко. Собираюсь доверить вам свое сокровище. Моя Жюли не ведает ни ревности, ни кокетства, она ангел кротости… И здесь она, надеюсь, не испортится, — заключил он неожиданно.

— Вот ведь негодник! — ответила маркиза, бросив на него насмешливый взгляд.

Она первая с какой-то благосклонной любезностью вызвалась поцеловать Жюли, которая была все так же задумчива; лицо ее выражало скорее смущение, чем любопытство.

— Давайте же знакомиться, душенька, — промолвила маркиза. — Не пугайтесь меня; право, в обществе людей молодых я всегда стараюсь не

быть старухой.

По обычаю, заведенному в провинции, маркиза, прежде чем провести племянника с женой в гостиную, велела было приготовить для них завтрак, но граф прервал поток ее красноречия, с важностью заявив, что времени у него в обрез — только пока перепрягают лошадей на станции. Поэтому все трое поспешили в гостиную, и полковник едва успел рассказать своей двоюродной тетке о политических и военных событиях, которые заставляли его просить приюта для молодой жены. Пока он рассказывал, тетка поглядывала то на племянника, говорившего без умолку, то на племянницу и решила, что причина ее грусти и бледности — вынужденная разлука. У маркизы был такой вид, точно она говорила себе: «Они влюблены друг в друга».

Со старого двора, вымощенного камнем и кое-где поросшего травой, донеслось щелканье бича. Виктор еще раз поцеловал маркизу и быстро пошел прочь.

— Прощай, моя дорогая! — сказал он, обнимая жену, которая проводила его до кареты.

— Ах, позволь проводить тебя хоть немножко, Виктор, — ласково говорила она, — мне так не хочется расставаться…

— Полно! Куда тебе ехать!

— Тогда прощай, — ответила Жюли, — будь по-твоему.

Карета скрылась.

— Так, значит, вы очень любите моего милейшего Виктора? — спросила маркиза племянницу, бросив на нее мудрый, испытующий взгляд, каким старые женщины нередко смотрят на молодых.

— Увы, сударыня, — ответила Жюли, — кто же выходит замуж, не любя?

Наивность, с какой были произнесены эти слова, явно говорила о нравственной чистоте Жюли или же о чем-то сокровенном. И трудно было подруге Дюкло и маршала Ришелье удержаться и не разведать тайну молодой четы. Обе женщины стояли у ворот и следили за удаляющейся каретой. Взор Жюли не выражал любви в том смысле, как понимала это маркиза. Почтенная дама была уроженкой Прованса, и страсти ее были пылки.

— Как же вы попались в сети моему племяннику-повесе? — спросила она у племянницы.

Жюли невольно вздрогнула, ибо по тону и взгляду старой кокетки она поняла, что маркиза отлично знает нрав Виктора, быть может, лучше, чем она сама. Г-жа д'Эглемон была встревоже-

на и неловко пыталась скрыть свои чувства: скрытность — единственное пристанище для душ чистых и страждущих. Г-жа де Листомэр не стала допытываться, но тешилась мыслью, что в своем уединении развлечется любовной тайной, ибо, думалось ей, племянница завела какую-то презанятную интрижку. Когда г-жа д'Эглемон очутилась в большой гостиной, обитой штофом, с позолоченным карнизом, когда села перед пылающим камином за китайской ширмой, поставленной тут, чтобы не сквозило, на душе у нее не стало легче. Да и мудрено было ощутить радость, глядя на потолок с ветхими лепными украшениями, на мебель, простоявшую здесь целый век. И все же молодой парижанке было отрадно, что она попала в этот глухой уголок, в эту строгую провинциальную тишину. Она перекинулась несколькими словами с теткой — той самой теткой, которой она, как это принято, после свадьбы написала письмо, — и, умолкнув, сидела, будто слушая оперу. Часа два прошло в полном молчании, достойном монахов-траппистов, и только тут Жюли заметила, что ведет себя невежливо, вспомнила, что на все вопросы тетки давала лишь сухие, краткие ответы. Из врожденного чувства такта, свойственного людям старого

закала, маркиза щадила прихоть племянницы и, чтобы не смущать Жюли, занялась вязанием. Правда, до этого она не раз выходила из гостиной — присмотреть, как в «зеленой комнате», которая предназначалась для графини, слуги расставляют вещи; теперь же старуха сидела со своим рукоделием в большом кресле и украдкой поглядывала на молодую женщину. Жюли стало неловко, что она молчит, погрузившись в свои думы, и она попыталась заслужить прощение, пошутив над собой.

— Дорогая крошка, нам-то известна вдовья грусть, — ответила г-жа Листомэр.

Только в сорок лет можно было бы угадать иронию, которая скрывалась за словами престарелой дамы. Наутро Жюли чувствовала себя гораздо лучше, она стала разговорчивей. Г-жа до Листомэр уже не сомневалась, что приручит молодую родственницу, которую сначала сочла за существо нелюдимое и недалекое; она занимала ее разговорами о здешних развлечениях, о балах, о домах, которые можно посещать. Все вопросы маркизы в тот день были просто-напросто ловушками, которые она по старой привычке, присущей придворным, не могла не расставлять, стремясь распознать характер племянницы.

Жюли ни за что не соглашалась, хотя ее уговаривали несколько дней, поехать куда-нибудь развлечься.

Почтенной даме очень хотелось показать знакомым свою хорошенькую племянницу; но в конце концов ей пришлось отказаться от намерения вывезти Жюли в свет. Свое стремление к одиночеству, свою печаль графиня д'Эглемон объясняла горем: смертью отца, траур по которому она еще носила. Не прошло и недели, а вдова уже восхищалась ангельской кротостью, изяществом, скромностью и уступчивым характером Жюли, и ей не давала покоя мысль о том, что за тайная печаль подтачивает это юное сердце.

Жюли принадлежала к числу женщин, которые рождены для того, чтобы их любили: они дают радость. Ее общество стало настолько приятно, настолько дорого г-же де Листомэр, что она без памяти полюбила племянницу и уже мечтала с нею никогда не расставаться. Месяца было достаточно, чтобы между ними возникла дружба навеки. Старуха не без удивления заметила, как изменилась г-жа д'Эглемон: румянец, пылавший на ее щеках, незаметно исчез, яркие краски сменила матовая бледность, зато Жюли была уже не такой грустной. Иной раз вдове удавалось

развеселить свою молодую родственницу, и тогда Жюли заливалась веселым смехом, но его сейчас же обрывала какая-то тягостная мысль. Старуха угадала, что глубокое уныние, омрачающее жизнь ее племянницы, вызвано не только воспоминанием об отце и не разлукой с Виктором; у нее возникло так много подозрений, что ей стало трудно найти истинную причину недуга, ибо истину мы, пожалуй, угадываем лишь случайно. И вот однажды Жюли будто совсем забыла о том, что она замужем, и развеселилась, словно беспечная девушка, изумив маркизу наивностью своих помыслов, детскими шалостями, сочетанием тонкого остроумия и глубокомыслия, свойственным юной француженке. Г-жа де Листомэр решила выпытать тайну этой души, удивительная непосредственность которой уживалась с непроницаемой замкнутостью. Смеркалось; женщины сидели у окна, выходившего на улицу; Жюли опять погрузилась в задумчивость; мимо проехал всадник.

— Вот одна из ваших жертв, — заметила старуха.

Госпожа д'Эглемон взглянула на тетку с недоумением и тревогой.

— Это молодой англичанин, дворянин, досто-

уважаемый Артур Ормонт, старший сын лорда Гранвиля. С ним случилась прелюбопытная история. В тысяча восемьсот втором году он по совету врачей приехал в Монпелье, надеясь, что воздух тех краев исцелит его от тяжелой грудной болезни, — он был почти при смерти. А тут началась война, и, как все его соотечественники, он был арестован по приказу Бонапарта: ведь этот изверг жить не может без войны. И молодой человек от скуки стал изучать свою болезнь, которая считалась неизлечимой. Мало-помалу он увлекся анатомией, медициной и пристрастился к наукам этого рода, что весьма удивительно для человека знатного; впрочем, ведь увлекался же Регент химией! Словом, господин Артур добился успехов, удивлявших даже профессоров в Монпелье; занятие наукой скрасило ему жизнь в плену, да к тому же он совершенно излечился. Рассказывают, что он два года ни с кем не разговаривал, дышал размеренно, спал в хлеву, пил молоко от коровы, вывезенной из Швейцарии, и питался одним кресс-салатом. Теперь он живет в Туре и нигде не бывает; он спесив, как павлин; но вы, спору нет, одержали над ним победу: ведь, конечно, не ради меня он проезжает под нашими окнами по два раза в день с той поры, как вы

здесь… Разумеется, он влюблен в вас!

Слова эти оказали какое-то магическое действие на Жюли. Она всплеснула руками, и ее усмешка поразила вдову. Ничего похожего на то невольное удовольствие, которое испытывает всякая женщина, даже самых строгих правил, когда узнает, что кто-то чахнет от любви к ней, не отразилось в померкшем, холодном взгляде Жюли. На ее лице было написано отвращение, чуть ли не ужас. Не так отвергает весь мир женщина ради одного, любимого: тогда она готова шутить и смеяться; нет, сейчас Жюли походила на человека, у которого сжимается сердце от одного воспоминания о недавней опасности. Маркиза, уже убедившаяся в том, что Жюли не любит ее племянника, была поражена, когда поняла, что она не любит никого. Вдова вздрогнула от мысли, что сердце молодой женщины разочаровано, что ей достаточно было одного дня, быть может, одной ночи, чтобы убедиться в том, что за ничтожество Виктор.

«Ежели она раскусила его, то все само собой разумеется, — думала она. — Племянничек скоро почувствует все тяготы супружества».

Тогда г-жа де Листомэр решила переубедить Жюли и внушить ей взгляды века Людовика XV;

но прошло несколько часов, и она поняла, или скорее угадала, что Жюли повергли в печаль обстоятельства, весьма нередкие в свете. Жюли вдруг впала в задумчивость и удалилась к себе раньше обычного. Горничная помогла ей раздеться, все привела в порядок и ушла, а Жюли, оставшись у камина, прилегла на желтую бархатную кушетку, старинную кушетку, на которой всегда так уютно бывает человеку — и в горе и в радости; поплакав и повздыхав, она долго о чем-то размышляла; затем придвинула к себе столик, достала бумагу и принялась писать. Быстро летели часы; признание, которое Жюли делала в письме, казалось, стоило ей дорого: над каждой фразой она долго сидела в раздумье; вдруг молодая женщина залилась слезами и бросила перо. Пробило два часа. Ее голова бессильно, как у умирающей, склонилась на грудь; когда же она подняла ее, то увидела тетку, которая появилась неожиданно, словно от гобелена, висевшего на стене, отделилась фигура.

— Что с вами, крошка моя? — спросила маркиза. — Кто так поздно засиживается и, главное, кто в вашем возрасте грустит в одиночестве?

Сев без всякой церемонии возле племянницы, она пожирала глазами начатое письмо.

— Вы пишете мужу?

— Ведь я не знаю, где он, — ответила графиня.

Тетка взяла письмо и принялась читать. Она не без умысла захватила с собой очки. Жюли безропотно позволила ей взять письмо. Не оттого, что ей не хватало собственного достоинства, не оттого, что она испытывала чувство какой-то вины, стала она такой безвольной — нет, старуха появилась в одну из тех минут, когда душа опустошена, когда ей все безразлично: и добро и зло, и молчание и откровенность. Подобно добродетельной девушке, которая пренебрежительно держится с возлюбленным, а вечером, чувствуя себя покинутой и одинокой, тоскует о нем и жаждет излить кому-нибудь свои страдания, Жюли позволила старухе, не говоря ни слова, сорвать ту печать, которую вежливость накладывает на незапечатанное письмо, и сидела, задумавшись, пока маркиза читала:

«Моя дорогая Луиза! К чему ты уже столько раз просишь меня выполнить обещание, которое так неосторожно могут дать друг другу только две наивные девушки? Ты все спрашиваешь, почему я полгода не отвечаю на твои вопросы. Если тебе было непонятно мое молчание, то сегодня, быть может, ты догадаешься о его причине, узнав

тайну, которую я тебе открою. Я бы навсегда похоронила ее в глубине сердца, если бы ты не сообщила мне о своем предстоящем замужестве. Ты выходишь замуж, Луиза! При этой мысли меня охватывает дрожь. Что ж, бедняжка моя, выходи; через несколько месяцев ты с горьким сожалением будешь вспоминать о том, какими мы были прежде, в тот вечер в Экуэне, когда мы поднялись с тобой вдвоем до самых больших дубов на горе, любовались оттуда прекрасной долиной, лежавшей у наших ног, восхищались закатом и нас озаряли последние лучи солнца. Мы уселись на большом камне, и нас охватил бурный восторг, а его сменила тихая печаль. Ты первая сказала, что далекое солнце говорит нам о будущем. Как мы были тогда любопытны, как безрассудны! Помнишь наши проказы? Мы обнялись, — «как влюбленные», шутили мы. Мы поклялись, что та из нас, кто первая выйдет замуж, откровенно расскажет другой о тайнах брака, о тех радостях, которые так манили наши младенческие души. Как ты будешь страдать, Луиза, вспоминая об этом вечере! В ту пору ты была молода, красива, беззаботна, даже счастлива. Замужество в несколько дней превратит тебя, как превратило меня, в некрасивую, больную, увяда-

ющую женщину. Было бы нелепо рассказывать тебе о том, как я гордилась, как радовалась тому, что буду женой полковника Виктора д'Эглемона. Да и вряд ли я могла бы рассказать, я сама себя не помнила.

Прошло немного времени, и ребячество это стало сном. Я так вела себя в торжественный день освящения брачных уз, бремени которых я не сознавала, что не обошлось без замечаний. Отец не раз пытался поубавить мою веселость, потому что я слишком уж бурно выражала свою радость, а это считается неприличным, и мою болтовню готовы были истолковать в дурную сторону, а ведь в ней не было ничего дурного. Чего только не выделывала я с подвенечной фатой, цветами, платьем! Вечером меня торжественно ввели и спальню и оставили одну, а я стала придумывать, как бы посмешить и подразнить Виктора; пока я ждала его, сердце у меня колотилось, как, бывало, колотилось когда-то, в канун праздничной встречи Нового года, когда я украдкой пробиралась в гостиную, где лежали горы подарков. Вошел муж и стал искать меня, я рассмеялась, и смех, приглушенный свадебной фатою, был последним отзвуком простодушного веселья наших детских лет...»

Вдова прочла письмо, которое, судя по началу, должно было содержать немало грустных наблюдений, не спеша положила очки на стол, а рядом с ними письмо и устремила на племянницу ясный взгляд своих зеленых глаз, не потускневших с годами.

— Детка моя, — сказала она, — замужней женщине не пристало так писать девушке: это просто неприлично.

— Я и сама так думаю, — ответила Жюли, прерывая тетку, — и мне было стыдно, пока вы читали.

— Если за столом нам не нравится какое-нибудь блюдо, не должно отбивать к нему охоту у других, дитя мое, — добродушно заметила старуха, — тем более что со времен Евы до наших дней считается, что нет ничего лучше, чем брак. — Помолчав, она спросила: — У вас нет матери?

Жюли вздрогнула, потом медленно подняла голову и сказала:

— В этом году я особенно горевала, что ее уже нет со мною. А как виновата я в том, что ослушалась отца: ведь он был против моего брака с Виктором!

Графиня взглянула на тетку, и радость осушила ее слезы: она заметила, какая доброта озаряет это старческое лицо. Она протянула руку маркизе,

которая, казалось, ждала этого, пальцы их сплелись. В этот миг они поняли друг друга.

— Бедная сиротка! — промолвила старая дама.

Слова эти были последним лучом света для Жюли. Ей опять послышался пророческий голос отца.

— Какие у вас горячие руки! Они всегда у вас такие? — спросила маркиза.

— Вот уже с неделю как меня перестало лихорадить, — ответила Жюли.

— И вы скрывали от меня, что вас лихорадит?

— Да это у меня уже с год, — сказала Жюли, и в ее голосе было что-то тревожное и застенчивое.

— Итак, мой ангел, — продолжала тетка, — все это время замужество было для вас пыткой?

Молодая женщина не решалась ответить, только молча опустила голову, но весь вид ее говорил, что она исстрадалась.

— Вы несчастливы?

— Ах нет, тетя! Виктор любит, боготворит меня, и я его обожаю. Он такой добрый!

— Вы любите его; но вы его избегаете, не правда ли?

— Да… иногда… Он чересчур пылок.

— И когда вы остаетесь одна, то, вероятно, боитесь, что он вот-вот войдет?

— К сожалению, боюсь, тетя! Но я, право, очень люблю его.

— Не вините ли вы себя втайне, что не умеете или не можете отвечать на его чувства? Не кажется ли вам порою, что узаконенная любовь более тягостна, нежели преступная страсть?

— О, как это верно! — сказала, плача, Жюли. — Вам понятно все, что мне самой кажется загадкой. Я стала какой-то бесчувственной. Я ни о чем не думаю… Одним словом, жизнь для меня обуза. Душу мою терзает необъяснимый страх; он леденит мои чувства и повергает меня в какое-то вечное оцепенение. Нет у меня сил жаловаться и нет слов, чтобы выразить свою печаль. Я страдаю и стыжусь своего страдания, видя, что для Виктора счастье в том, что для меня смерть.

— Ну и вздор, ну и ребячество! — воскликнула старуха, и на ее высохшем лице вдруг промелькнула веселая улыбка — отражение минувших радостей.

— Вот и вы смеетесь! — с отчаянием проговорила молодая женщина.

— Я была такой же, — живо ответила маркиза. — Теперь, в разлуке с Виктором, вы вновь превратились в безмятежную девушку, не ведающую ни блаженства, ни страданий.

Глаза у Жюли расширились, и в них появилось растерянное выражение.

— Вы обожаете Виктора, не правда ли? Но вы бы предпочли быть его сестрой, а не женой; брак ваш неудачен.

— Да-да, тетя. Но почему вы улыбаетесь?

— Вы правы, милочка! Вам не до веселья. Вас ждет немало бед, если я не возьму вас под защиту, а опытность моя не разгадает несложную причину ваших печалей и огорчений. Мой племянник не заслуживает такого счастья, глупец! В царствование любезного нашего Людовика Пятнадцатого молоденькая женщина, очутись она в вашем положении, не теряла бы времени, она проучила бы супруга за то, что он ведет себя как солдафон. Себялюбец! И военные-то у этого коронованного тирана мерзкие невежды! Грубость они считают галантностью, женщин не знают, любить не умеют; они воображают, что раз им суждено завтра пойти на смерть, то сегодня нечего дарить нас почтительным вниманием. В прежние времена умели и любить сильно, и идти на смерть когда надобно. Я переделаю его характер ради вас, моя милая племянница; я положу конец этому досадному, но, пожалуй, естественному разногласию, иначе вы возненавидите друг друга и

пожелаете развестись, если только вы, дорогая, не скончаетесь раньше, чем все это доведет вас до отчаяния.

Жюли слушала, застыв от изумления, пораженная словами, мудрость которых она скорее угадывала, нежели понимала, и напуганная тем, что ее многоопытная родственница повторяет приговор, вынесенный Виктору ее отцом, только произносит его в более мягких выражениях. Должно быть, она по какому-то наитию живо представила себе, что ждет ее в будущем, и почувствовала, как тягостны несчастья, которые суждены ей. Она залилась слезами и бросилась в объятия старухе, говоря:

— Будьте же мне матерью!

Вдова не заплакала, ибо после революции у приверженцев старой монархии слез осталось мало. Сначала любовь, а позднее террор приучили их к самым острым жизненным положениям; поэтому они хранят при всех треволнениях холодное достоинство и, хотя чувствуют глубоко, не выражают своих чувств в излияниях, а всегда соблюдают этикет и ту изысканную сдержанность, которую напрасно отвергают новейшие нравы. Она обняла Жюли, поцеловала ее в лоб с той милой ласковостью, которая зачастую присуща

скорее манерам и привычкам таких женщин, нежели их сердцу; она успокаивала племянницу нежными словами, сулила ей счастливое будущее и, укладывая ее спать, будто свою дочку, свою милую дочку, надеждами и печалями которой она стала жить, баюкала ее, пророча любовь, блаженство; в племяннице она увидела себя — молодой, неопытной, красивой. Графиня заснула с радостным чувством, что она обрела друга, мать, которой отныне можно все рассказывать. Наутро тетка и племянница обнялись с той глубокою сердечностью, с тем понимающим видом, который доказывает, как усилилось чувство, как окрепла близость двух душ; в этот миг послышался конский топот. Они одновременно обернулись и увидели молодого англичанина, который, как всегда, не спеша проезжал по улице. Казалось, он изучил, какой образ жизни ведут затворницы, и никогда не пропускал часа их завтрака или обеда. Лошадь сама замедляла шаг, не было надобности приостанавливать ее; проезжая мимо окон — двух окон столовой, — Артур не сводил с них печального взгляда. В большинстве случаев Жюли, не обращавшая на молодого человека никакого внимания, просто не замечала его: зато маркиза была одержима тем суетным любопыт-

ством, с которым в провинции следят за любой мелочью, чтобы чем-нибудь разнообразить свое существование, и от которого нелегко уберечься даже людям большого ума; старуху забавляла робкая и искренняя любовь, любовь, выражаемая безмолвно. Видеть Артура в определенные часы стало для нее привычкой, и всякий раз она приветствовала его появление новыми шутками.

Садясь на стол, обе женщины одновременно посмотрели на островитянина. На этот раз глаза Жюли и Артура встретились, и она прочла в его взгляде столько чувства, что вспыхнула. А он тотчас же хлестнул лошадь и умчался галопом.

— Скажите, сударыня, что же делать? — обратилась Жюли к маркизе. — Люди каждый день видят этого англичанина и в конце концов решат, что я…

— Разумеется, — ответила тетка, прерывая ее.

— Не сказать ли ему, чтобы он не смел больше здесь появляться?

— И навести его на мысль, что он опасен? Да и как можно помешать человеку появляться там, куда его влечет? С завтрашнего дня мы не станем есть в этой комнате, и ваш молодой вздыхатель больше нас здесь не увидит. Вот как, моя милая, поступают светские женщины, умудренные

опытом.

Но на этом несчастья Жюли не кончились. Не успела она встать из-за стола, как неожиданно появился лакей Виктора. Он во весь опор мчался из Буржа окольными дорогами и привез графине письмо от мужа. Г-н д'Эглемон покинул императора и сообщал жене о том, что Империя пала, что Париж взят и вся Франция восторженно чествует Бурбонов. Однако, не зная, как добраться до Тура, он просил ее немедленно приехать к нему в Орлеан, где он надеялся добыть для нее пропуск. Лакей, бывший солдат, должен был сопровождать Жюли от Тура до Орлеана по дороге, которая — так считал Виктор — была еще свободна.

— Ваше сиятельство, нельзя терять ни секунды, — торопил лакей, — прусская, австрийская и английская армии вот-вот сойдутся возле Блуа либо под Орлеаном…

Через несколько часов Жюли собралась в дорогу и уехала в старом рыдване, который отдала в ее распоряжение тетка.

— Почему бы и вам не поехать в Париж? — сказала она, целуя на прощание маркизу. — Теперь, когда возвращаются Бурбоны, вы там найдете…

— Да и не будь этого нежданного события, я бы поехала, бедная моя детка, ибо мои советы очень

нужны и вам и Виктору. Поэтому я сделаю все, чтобы поскорее приехать к вам туда.

Жюли выехала в сопровождении горничной и старого солдата, который скакал рядом с каретой, охраняя свою госпожу. Ночью, остановившись на почтовой станции, недоезжая Блуа, Жюли, встревоженная шумом колес какого-то экипажа, который ехал следом за ними от самого Амбуаза, выглянула в дверцу, чтобы посмотреть, кто же ее спутники. Светила луна, и Жюли увидела Артура. Он стоял в трех шагах от дверцы кареты и не сводил с нее глаз. Их взгляды встретились. Жюли отпрянула в глубь кареты, дрожа от страха. Как почти все неопытные молодые женщины, поистине чистые душой, она считала себя виновной в том, что невольно внушила любовь. Она испытывала какой-то непонятный ужас, вероятно, чувствовала, как она бессильна перед таким смелым натиском. Мужчина — и в этом самое его сильное оружие — обладает опасным преимуществом: занимать собою все помыслы женщины, если ее воображение, живое по природе своей, испугано или оскорблено преследованием. Графиня вспомнила совет г-жи де Листомэр и решила всю дорогу не выходить из кареты. Но на каждой станции она слышала шаги

англичанина, который медленно прохаживался вокруг карет, а в пути назойливый шум колес его экипажа беспрерывно раздавался в ее ушах. Однако Жюли успокаивала себя тем, что муж защитит ее от странного преследования.

«А может быть, молодой человек вовсе не влюблен в меня?»

Об этом она подумала в последнюю очередь.

В Орлеане пруссаки задержали карету графини, направили на какой-то постоялый двор и приставили к ней караул. Перечить им было невозможно. Они знаками объясняли всем путешественникам, что получен строжайший приказ никого не выпускать из карет. Около двух часов графиня, заливаясь слезами, провела пленницей; солдаты, которые пересмеивались и курили, то и дело поглядывали на нее с оскорбительным любопытством; но вдруг она увидела, что они с почтительным видом отходят от ее экипажа, и услышала топот лошадей. Вскоре несколько иностранных офицеров в больших чинах во главе с австрийским генералом окружили карету.

— Сударыня, — обратился к Жюли генерал, — примите наши извинения; произошла ошибка, вы можете безбоязненно продолжать путешествие. Вот вам пропуск, он предохранит вас в

дальнейшем от всяких неприятностей.

Графиня, дрожа, взяла бумагу и пролепетала что-то бессвязное. Рядом с генералом она увидела Артура в форме английского офицера; ему-то, разумеется, она и была обязана своим быстрым освобождением. Что-то радостное и вместе с тем печальное было в его лице, когда он отвернулся, лишь украдкой осмеливаясь бросать взгляды на Жюли. С этим пропуском г-жа д'Эглемон приехала в Париж без всяких неприятных происшествий. Там ее встретил муж; он был свободен от присяги императору, и его обласкал брат Людовика XVIII, граф д'Артуа, которого король назначил своим наместником. Виктор д'Эглемон занял высокое положение в королевском конвое и получил чин генерала.

Но в самый разгар празднеств в честь возвращения Бурбонов бедную Жюли постигло глубокое горе, повлиявшее на всю ее жизнь: она потеряла маркизу де Листомэр-Ландон. Старуха умерла от радости: ее разбил удар, когда герцог Ангулемский появился в Туре. Женщина, чей преклонный возраст давал право поучать Виктора, единственная родственница, чьи мудрые советы могли привести супругов к согласию, умерла. Для Жюли это была тяжелая утрата. Не осталось по-

средника между нею и мужем. Она была молода, застенчива и предпочитала переносить страдания молча, лишь бы не жаловаться. Она считала своей обязанностью во всем покоряться мужу и не осмеливалась доискиваться причины своих мучений, ибо покончить с ними означало бы затронуть слишком интимные вопросы: Жюли боялась, что ее целомудрие будет оскорблено.

Следует сказать несколько слов о том, как сложилась судьба г-на д'Эглемона при Реставрации.

Разве мы не встречаем в свете людей, полное ничтожество которых — тайна для окружающих? Высокое положение в обществе, знатное происхождение, важная должность, внешний лоск, сдержанность в поведении или власть богатства — все это завеса, мешающая наблюдателю вникнуть в их внутренний мир. Люди эти походят на королей, о настоящей роли которых, о характере и нравах никому доподлинно не известно: королей нельзя правильно оценить, ибо их видят или издалека, или чересчур уж на близком расстоянии. Личности эти наделены мнимыми достоинствами; они не разговаривают, а выспрашивают, владеют искусством выдвигать на авансцену других, чтобы самим не быть на виду; они с удивительной ловкостью дергают каждого

за ниточку его страстей и корыстолюбия и таким образом играют окружающими, превращая их в марионеток, а когда им удается унизить некоторых до себя, считают ничтожеством тех, кто в действительности стоит гораздо выше их. Так одерживает подлинное торжество ум мелкий, но цепкий над умами великими и всеобъемлющими. Поэтому, чтобы судить о бездарностях и определять их отрицательную ценность, наблюдателю надобно обладать умом скорее тонким, нежели глубоким, скорее терпением, нежели широким кругозором, скорее хитростью и тактом, нежели благородством и величием мысли. Невзирая, однако, на изворотливость, которую проявляют эти узурпаторы, прикрывая свои слабости, им трудно обмануть своих жен, матерей, детей или друга дома; но близкие почти всегда хранят тайну, ибо она до некоторой степени касается их общей чести; нередко близкие даже помогают им поддерживать их мнимое достоинство в свете. Благодаря таким домашним сговорам многие глупцы слывут людьми высокого ума, и этим уравновешивается количество людей высокого ума, слывущих глупцами; таким образом, в обществе всегда полным-полно мнимых талантов. Теперь подумайте о той роли, которую

должна играть женщина умная и чувствительная рядом с мужем, принадлежащим к такой породе людей; не приходилось ли вам замечать женщин самоотверженных и печальных, которым ничто здесь, на земле, не может заменить любящее и верное сердце? Если в такое ужасное положение попадает женщина сильная духом, то она иногда находит выход в преступлении, что и сделала Екатерина II, все же прозванная *Великой.* Но не все женщины восседают на троне; большинство обречено на горести в кругу семьи, и горести эти ужасны, хотя и остаются безвестными. Те женщины, которые ищут утешения и в то же время желают остаться верными своему долгу, часто попадают из огня да в полымя или же совершают тяжкие проступки, попирая законы ради своих удовольствий. Рассуждения эти весьма применимы к тайной истории жизни Жюли. Пока Наполеон был еще в силе, полковник граф д'Эглемон, примерный, но ничем не выдающийся офицер, адъютант, превосходно выполнявший даже самые опасные поручения, но совершенно не способный командовать, не возбуждал ничьей зависти, слыл за храбреца, к которому благоволит император, и был, как попросту говорят военные, добрым малым. Реставрация верну-

ла ему титул маркиза, и д'Эглемон не оказался неблагодарным: он бежал вместе с Бурбонами в Гент. Эта последовательность в проявлении верноподданнических чувств опровергла гороскоп, составленный его тестем и предрекавший ему до конца жизни чин полковника. После вторичного возвращения Бурбонов г-н д'Эглемон, произведенный в генерал-лейтенанты и вновь ставший маркизом, возымел честолюбивое намерение добиться пэрства; он стал разделять убеждения и политическое направление газеты «Консерватор», облекся в таинственность, ничего ровно не скрывавшую, заважничал, выспрашивал, а сам отмалчивался и всеми был признан за человека глубокомысленного.

Он держался весьма учтиво, вооружился приемами светского щеголя, схватывал и повторял готовые фразы, которые постоянно штампуются в Париже и служат для глупцов разменной монетой при оценке крупных идей и событий. В свете решили, что маркиз д'Эглемон — человек образованный и со вкусом. Он был упорным сторонником аристократических предрассудков, и его приводили в пример как человека весьма достойного. Если он иной раз становился, как прежде, беспечным и веселым, в обществе нахо-

дили, что за его пустой, вздорной болтовней и бессмысленными речами таится важный дипломатический смысл.

«Ну, он говорит только то, что считает нужным сказать», — думали люди положительные.

Маркиз д'Эглемон отлично пользовался не только своими достоинствами, но и недостатками. Отвага принесла ему военную славу, и ее ничто не могло опровергнуть, потому что ему никогда не доводилось командовать. Мужественное и благородное лицо его всем казалось умным, и лишь для жены оно было лицемерной маской. Слыша, что все воздают хвалу его мнимым талантам, маркиз д'Эглемон в конце концов и сам возомнил себя замечательным человеком. При дворе, где благодаря своей наружности он сумел понравиться, разнообразные его заслуги были признаны бесспорными.

Однако у себя дома г-н д'Эглемон держался скромно, ибо всем своим существом чувствовал превосходство жены, невзирая на ее молодость. Это невольное уважение породило ту скрытую власть, которую маркизе пришлось взять на себя, как ни пыталась она отбросить ее бремя. Она была советчицей мужа, управляла его делами и состоянием. Это влияние, противное ее натуре,

было для нее своего рода унижением и источником терзаний, которые она затаила в своем сердце. Тонкое, чисто женское чутье говорило ей, что гораздо лучше повиноваться человеку одаренному, нежели руководить глупцом, и что молодая супруга, принужденная действовать и думать за мужа, — ни женщина, ни мужчина, что, отрекаясь от своей злополучной женской слабости, она вместе с тем теряет и всю свою женственную прелесть, не получая взамен ни одного преимущества, которые наши законы предоставили мужчинам. Само существование ее таило в себе какую-то горькую насмешку. Ведь она была вынуждена поклоняться бездушному идолу, покровительствовать своему покровителю, пустому фату, который вместо вознаграждения за ее самоотверженность бросал ей свою эгоистическую супружескую любовь, видел в ней лишь женщину, не соблаговолил или не сумел — а это тоже тяжкое оскорбление — спросить себя, в чем ее радости или в чем причина ее печали, упадка сил? Как большинство тех мужей, которые чувствуют, что над ними тяготеет ум более возвышенный, маркиз искал спасения для своего самолюбия в том, что пытался заключить по физической слабости Жюли о ее слабости ду-

ховной, охотно жалел ее и спрашивал себя, за что судьба послала ему в жены столь болезненное создание. Словом, он прикидывался жертвой, а был палачом. Маркизе, удрученной печальным своим существованием, вдобавок ко всему приходилось улыбаться глупому повелителю, украшать цветами унылый дом и изображать счастье на лице, побледневшем от скрытых мук. Чувство чести, великодушное самоотречение неприметно наделили молодую женщину достоинством, сознанием добродетели, служившим ей защитой против опасностей света. Если мы проникнем в эту душу до дна, то увидим, что, быть может, затаенное глубокое горе, которым увенчалась ее первая, ее чистая девичья любовь, внушило ей отвращение к страстям; быть может, поэтому не познала она ни увлечения, ни запретных, но упоительных радостей, заставляющих иных женщин забыть правила житейской мудрости и устои добродетели, на которых зиждется общество. Разуверившись, как в несбыточной мечте, в той нежности, в той сладостной гармонии, которые пророчила ей умудренная опытом г-жа Листомэр-Ландон, она покорно ждала конца своих страданий, надеясь умереть молодой. С тех пор как Жюли вернулась из Турени, здоро-

вье ее с каждым днем становилось все хуже, и ей казалось, что жизнь — это сплошные страдания; впрочем, что-то изысканное было в ее страданиях, что-то изнеженное было в ее недуге, и поверхностным людям могло показаться, что все это прихоть кокетки. Врачи не разрешали ей вставать, и она целыми днями лежала на диване и увядала, как цветы, украшавшие ее комнату. Она так ослабела, что не могла ходить, не могла бывать на свежем воздухе; она выезжала только в закрытой карете. Ее окружала роскошь — чудесные творения современной промышленности; казалось, это не больная, а королева, равнодушная ко всему на свете. Друзья, быть может, тронутые ее несчастьем и слабостью, уверенные, что всегда застанут ее дома и что за внимание им воздастся, когда она поправится, приходили к ней с новостями и рассказывали о всякой всячине, вносящей столько разнообразия в жизнь парижан! Ее душевная подавленность, глубокая, искренняя, все же была подавленностью женщины, живущей в роскоши. Маркиза д'Эглемон походила на прекрасный цветок, корень которого подтачивает вредное насекомое. Иногда она появлялась в свете, но не потому, что ей хотелось этого, а так было надобно для честолюбивых

притязаний мужа. Ее голос и умение петь могли бы вызвать рукоплескания — а это всегда льстит молодой женщине, — но к чему ей были светские успехи? Они ничего не говорили ни душе ее, ни надеждам. Ее муж музыки не любил. Она всегда чувствовала себя неловко в гостиных, где ее красота вызывала поклонение и какое-то назойливое участие. Состояние ее возбуждало в свете нечто вроде жестокой жалости, обидного любопытства. Она была поражена тем недугом, зачастую смертельным, о котором женщины говорят друг другу на ухо и для наименования которого в нашем языке еще не появилось слова. Несмотря на завесу молчания, скрывавшую семейную жизнь маркизы д'Эглемон, причина ее болезни ни для кого не была тайной. В Жюли сохранилось что-то девичье, несмотря на замужество; нескромный взгляд мог повергнуть ее в смущение. Чтобы никто не подметил, как она краснеет, Жюли всегда старалась быть оживленной, но веселье ее было напускным; она всем твердила, что чувствует себя отлично, или стыдливо предупреждала вопросы о ее здоровье какой-нибудь выдумкой. Меж тем в 1817 году одно событие весьма скрасило плачевное положение, в котором находилась Жюли д'Эглемон.

У нее родилась дочь, и она захотела кормить ее сама. Два года самозабвенных, отрадных забот и волнений, связанных с материнством, сделали жизнь ее менее горестной. Она поневоле отдалилась от мужа. Доктора начали предсказывать, что здоровье ее улучшится, но маркиза не придавала значения этим гадательным предсказаниям. Как и все люди, разуверившиеся в жизни, пожалуй, лишь в смерти видела она счастливую развязку.

В начале 1819 года жизнь стала для нее тягостна как никогда. В то самое время, когда она радовалась относительному покою, который ей удалось завоевать, под ее ногами разверзлась бездна: ее муж постепенно отвык от нее. Охлаждение уже и без того остывшего эгоистического чувства могло привести ко многим бедам — это Жюли подсказывали чуткость и благоразумие. Хотя она была уверена, что навсегда сохранит власть над Виктором, что навсегда завоевала его уважение к себе, ее все же страшило влияние страстей на столь ничтожного, столь безрассудного и тщеславного человека. Друзья часто заставали Жюли погруженной в размышления; менее прозорливые шутливо спрашивали о ее тайнах, будто молодая женщина думает только о пустяках, будто в раздумьях матери не может

быть глубокого смысла. А ведь в несчастье, так же как и в настоящем счастье, мы склонны к раздумью. Порою, играя с Еленой, Жюли смотрела на нее мрачным взглядом и не отвечала на наивные вопросы ребенка, доставляющие столько радости матерям: она размышляла о том, что готовит судьба ее дочке. Глаза ее наполнялись слезами, когда внезапно что-нибудь напоминало ей парад в Тюильри. Пророческие слова отца вновь звучали в ее ушах, и совесть упрекала ее за то, что она не вняла его мудрым увещаниям. Все ее несчастья и произошли от этого безрассудного непослушания; и часто она сама не знала, что тяготит ее больше всего. Не только чудесные богатства ее души не были оценены, но ей никогда не удавалось добиться того, чтобы муж понял ее даже в самых обычных, житейских делах. В ту пору, когда в душе ее росло и крепло стремление к любви, физические и нравственные страдания убивали в ней любовь дозволенную, любовь супружескую. Кроме того, муж вызывал у нее жалость, близкую к презрению, а это со временем убивает все чувства. Наконец, даже если бы разговоры с друзьями, если бы примеры и случаи из великосветской жизни и не убеждали бы ее в том, что любовь приносит беспредельное блаженство,

то сами обиды, нанесенные ей, подсказали бы, как радостно и как чисто должно быть чувство, которое соединяет родственные души. В картинах прошлого, запечатлевшихся в ее памяти, перед ней вставало открытое лицо Артура, и с каждым разом оно казалось ей все прекраснее, все чище, но, промелькнув, оно исчезало, ибо она гнала от себя воспоминания.

Молчаливая и робкая любовь молодого чужестранца была со дня ее замужества единственным событием, которое оставило сладостный след в ее печальном и одиноком сердце. Быть может, все обманутые надежды, все несбывшиеся желания, мало-помалу омрачавшие душу Жюли, сосредоточились под воздействием игры воображения на этом человеке, столь схожем, как ей представлялось, с нею по склонностям, чувствам и характеру. Но мысль о нем превращалась в причудливые грезы, в мечты. Несбыточные мечты рассеивались, и Жюли с тяжким вздохом возвращалась к действительности; она становилась еще несчастнее, ибо еще острее ощущала свое затаенное горе, которое ей удавалось на миг усыпить под покровом призрачного счастья. Иной раз в ее сетованиях появлялось что-то неистовое, смелое; ей хотелось — пусть любой ценой — насладиться

жизнью; но чаще она впадала в какое-то тупое оцепенение, слушала, не понимая, или же погружалась в глубокое раздумье, причем мысли ее были так туманны, так расплывчаты, что их нельзя было передать словами. Оскорблены были ее самые заветные желания, ее нравственные понятия, ее девичьи мечты, и она была принуждена скрывать свои слезы. Да и кому жаловаться? Кто поймет ее? Помимо всего, она обладала той утонченной чуткостью, той прекрасной чистотой чувств, которая всегда заглушает бесполезную жалобу и не позволяет женщине воспользоваться своими преимуществами, если торжество унизительно и для победителя, и для побежденного. Жюли пыталась наделить своими способностями и достоинствами г-на д'Эглемона и тешила себя тем, что наслаждается несуществующим счастьем. Напрасно она со всей своей женской чуткостью незаметно щадила его самолюбие — этим она лишь усиливала деспотизм мужа. Порою она словно хмелела от тоски, она ни о чем не думала, она теряла самообладание, но истинное благочестие всегда приводило ее к возвышенной надежде; она находила утешение в мыслях о будущей жизни, и светлая вера вновь примиряла ее с тяжким бременем. Ужасные терзания, безыс-

ходная тоска, владевшие ею, никого не трогали, никто не знал о долгих часах, которые она проводила в печальном раздумье, никто не видел ее погасшего взгляда, горьких слез, пролитых украдкой в одиночестве.

Гибельные последствия того опасного положения, до которого мало-помалу довели маркизу обстоятельства, стали особенно очевидными для нее в один январский вечер 1820 года. Когда супруги в совершенстве знают друг друга и когда их соединяет многолетняя привычка, жена правильно истолковывает каждый жест мужа и может угадать чувства и думы, которые он скрывает от нее. И случается, что после размышления и некоторых наблюдений, хоть и сделаны они были нечаянно и поначалу непреднамеренно, вдруг все предстает перед нею в новом свете. Часто жена вдруг видит, что она на краю или на дне пропасти. Так и маркиза, уже не один день радовавшаяся своему одиночеству, внезапно угадала, в чем его секрет: непостоянство или пресыщенность мужа, великодушие или жалость его к жене обрекли ее на это одиночество. В этот миг она уже не думала о себе, о своих страданиях и жертвах; она была только матерью и жила лишь заботой о счастье дочери, о будущем своей доче-

ри, единственной своей отрады — Елены, милой Елены, единственного своего сокровища, которое привязывало ее к жизни. Теперь Жюли решила жить только ради того, чтобы уберечь свое дитя от страшного ига: она боялась, что мачеха погубит жизнь ее дорогой девочки. Предвидя мрачное будущее, она углубилась в мучительное раздумье, от которого сразу стареешь на несколько лет. Между нею и мужем отныне вставал целый мир мыслей, вся тяжесть которых должна была пасть лишь на нее. До сих пор, убежденная в том, что Виктор по-своему любит ее, она посвящала себя счастью, которого не ведала сама; но ныне она уже не чувствовала удовлетворения от мысли, что слезы ее — радость мужа; она была одна в целом мире, и ей не оставалось ничего иного, как выбрать наименьшее зло. В тот час, когда в глубокой ночной тишине отчаяние охватило ее и отняло все силы, в тот миг, когда она, осушив слезы, встала с дивана, где лежала у почти потухшего камина, и пошла при свете лампы взглянуть на спавшую дочку, г-н д'Эглемон в самом веселом расположении духа вернулся домой. Жюли позвала его полюбоваться спящей Еленой, а он ответил жене, восхищенно смотревшей на их дочку, избитой фразой:

— В этом возрасте все дети милы.

Он равнодушно поцеловал дочку в лоб, опустил полог колыбели, взглянул на Жюли и, взяв ее под руку, повел к дивану, где она только что передумала столько страшных дум.

— Как вы прелестны нынче, Жюли! — воскликнул он весело, и это было нестерпимо: слишком хорошо знала маркиза его пустословие.

— Где вы провели вечер? — спросила она с напускным безразличием.

— У госпожи де Серизи.

Он взял с камина экран для свечей и стал внимательно рассматривать прозрачный рисунок, не замечая на лице жены следов от пролитых ею слез. Жюли вздрогнула. Никакими словами не передать чувств, потоком хлынувших в ее сердце, чувств, которые она должна была сдерживать.

— В будущий понедельник госпожа де Серизи устраивает концерт и горит желанием видеть тебя. Ты давным-давно не появлялась в свете, поэтому она жаждет, чтобы ты была у нее на вечере. Она превосходная женщина и очень любит тебя. Доставь мне удовольствие, поедем, я почти дал за тебя согласие.

— Поедем, — отвечала Жюли.

Голос, тон и взгляд маркизы были так вырази-

тельны и так необычайны, что, невзирая на свое легкомыслие, Виктор с удивлением посмотрел на жену. Все было ясно: Жюли поняла, что г-жа де Серизи — та самая женщина, которая похитила у нее сердце мужа. Она застыла под наплывом горестных мыслей; казалось же, что она просто смотрит на огонь, пылающий в камине. Виктор вертел экран со скучающим видом человека, которому было очень хорошо где-то вне дома, который устал от счастья. Он несколько раз зевнул, одной рукой взял подсвечник, а другой как-то нехотя обнял жену, собираясь поцеловать ее в шею, но Жюли нагнулась и подставила ему лоб — на чем и был запечатлен вечерний поцелуй, этот привычный, лицемерный поцелуй без любви, вызвавший у нее отвращение. Как только дверь за Виктором затворилась, Жюли упала в кресло; ноги ее подкосились, она залилась слезами. Надобно пройти через пытку подобных сцен, чтобы понять, сколько в них мучительного, чтобы разгадать те бесконечные и страшные драмы, которые они порождают.

Односложные и пустые фразы, молчание супругов, жесты, взгляды, сама поза г-на д'Эглемона у камина, вид его, когда он хотел поцеловать жену, — все это послужило толчком к тому, что в

тот вечер произошел трагический перелом в одинокой и скорбной жизни Жюли. Она в отчаянии опустилась на колени перед диваном, прижалась к нему лицом, чтобы ничего не видеть, и стала молиться, читая слова обычной молитвы с глубокой задушевностью, вкладывая в них новый смысл, так что сердце маркиза дрогнуло бы, если б он услышал ее. Всю неделю молодой женщине не давала покоя мысль о будущем, горе терзало ее, и она обдумывала свое положение, пыталась найти выход, чтобы, не обманывая своего сердца, вернуть власть над мужем и прожить как можно дольше во имя счастья своей дочки. И она решила бороться с соперницей, обольстить Виктора, вновь появляться в свете, блистать там, притворяться, что исполнена любви к мужу, любви, которой она уже не могла чувствовать, затем, пустив в ход всевозможные уловки кокетства и подчинив мужа своей воле, вертеть им, как делают это взбалмошные любовницы, которым приятно мучить своих поклонников. Отвратительная хитрость была единственным средством, которое могло помочь в беде. Итак, она станет госпожой своих страданий, она будет распоряжаться ими как ей вздумается, будет реже поддаваться им и в то же время обуздает мужа,

поработит его своей деспотической волей. Она даже не испытывала никаких угрызений совести, обрекая его на нелегкое существование. Ради спасения дочери она сразу пустилась в бесстрастные, холодные расчеты, она вдруг постигла, что такое вероломство, лживость женщин, не ведающих любви, постигла тайну того чудовищного коварства, которое порождает у мужчины глубокую ненависть к женщине и внушает ему мысль, что она порочна от рождения. Неведомо для самой Жюли к ее материнской любви примешивалось женское тщеславие, себялюбие, смутное желание отомстить, и это толкало ее на новый путь, где ее ждали другие беды. Но прекрасная душа ее, тонкий ум, а главное, искренность не позволили бы ей долго быть причастной к обману. Она привыкла читать в своей душе, и стоило бы ей ступить на стезю порока — ибо то был порок, — как голос совести заглушил бы голос страстей и эгоизма. В самом деле, у молодой женщины, сердце которой еще чисто и любовь которой непорочна, даже чувство материнства подчиняется голосу целомудрия. Разве целомудрие не сущность женщины? Но Жюли не хотелось замечать ни опасностей, ни ошибок на своем новом жизненном пути. Она отправилась к г-же де Серизи. Ее

соперница рассчитывала увидеть бледную, изможденную женщину; маркиза подрумянилась и предстала перед нею во всем блеске своей красоты, подчеркнутой великолепным нарядом.

Графиня де Серизи принадлежала к разряду тех женщин, которые воображают, что в Париже они властительницы мод и света; она выносила суждения, которым следовал кружок, где она царила, и была уверена, что их принимают повсюду; она считала, что наделена тонким остроумием; она воображала себя непогрешимым *судьей.* Литература, политика, мужчины, женщины — все подвергалось ее критике, а сама она, казалось, презирала мнения других. Дом ее во всех отношениях был образцом хорошего тона. В гостиных, где было множество блистательных красавиц, Жюли одержала победу над графиней. Она была остроумна, оживленна, весела, и вокруг нее собрались самые изысканные кавалеры, приглашенные в тот вечер. К великому неудовольствию женщин, туалет ее был безупречен; все завидовали покрою ее платья и тому, как сидит на ней корсаж; это обычно приписывается изобретательности какой-нибудь неведомой портнихи, ибо дамы предпочитают верить в мастерство швеи, нежели поверить в изящество и строй-

ность женщины. Когда Жюли поднялась с места и направилась к роялю, чтобы спеть арию Дездемоны, из всех гостиных поспешили мужчины, желавшие послушать дивный, так долго молчавший голос; воцарилась глубокая тишина. Жюли ощутила острое волнение, когда увидела, что столько людей теснится в дверях и столько взоров устремлено на нее. Она отыскала глазами мужа, кокетливо взглянула на него и с удовольствием отметила, что ее успех чрезвычайно льстит его самолюбию. Счастливая своей победой, она очаровала слушателей первой частью арии «Al piè d'un salice»[1]. Никогда ни Малибран, ни Паста не пели с таким чувством, с таким совершенством исполнения; но, дойдя до репризы, Жюли обвела взглядом собравшихся и вдруг увидела Артура, который не сводил с нее глаз. Она вздрогнула, и голос изменил ей.

Госпожа до Серизи вскочила и подбежала к маркизе.

— Что с вами, милочка? Ах, бедняжка, как ей плохо! Я просто трепетала, видя, как она берется за то, что выше ее сил!..

Ария была прервана. Жюли досадовала, что

---

[1] Примечания: 1

«У подножия ивы» (*ит.).*

у нее не хватает смелости продолжать, и она терпеливо выслушивала сочувственные речи вероломной соперницы. Дамы стали перешептываться; обсудив происшествие, они догадались, что между маркизой и г-жой де Серизи началась борьба, и не щадили их в своем злословии. Странные предчувствия, так часто тревожившие Жюли, стали реальностью. Когда она думала об Артуре, ей отрадно было верить, что этот незнакомец с таким милым и добрым лицом должен остаться верным своей первой любви. Порою ей льстила мысль, что она — предмет прекрасной страсти, чистой, искренней страсти человека молодого, все помыслы которого принадлежат любимой, каждая минута посвящена ей, человека, который не кривит душой, краснеет от того же, от чего краснеет женщина, думает как женщина, не изменяет ей, вверяется ей, не помышляя ни о честолюбии, ни о славе, ни о богатстве. В мечтах своих она наделяла Артура такими чертами ради развлечения, ради прихоти и вдруг почувствовала, что мечта ее осуществилась. На женственном лице молодого англичанина запечатлелись следы глубокого раздумья, тихой грусти и такой же самоотреченности, жертвой которой была сама Жюли, в нем она увидела себя. Уныние и печаль

— самые красноречивые толкователи любви и передаются от одного страждущего к другому с невероятною быстротой. У страдальцев развито какое-то внутреннее зрение, они полно и верно читают мысли друг друга и одинаково воспринимают все впечатления. Маркиза была потрясена, поняв, какие опасности ожидают ее в будущем. Она была рада, что может сослаться на свое обычное недомогание, и не противилась докучливому, притворному сочувствию г-жи де Серизи. То, что Жюли прервала пение, превратилось в целое событие и по-разному занимало гостей. Одни чуть ли не оплакивали Жюли и сетовали, что такая замечательная женщина потеряна для общества, другим не терпелось доискаться причины ее страдания и уединения, в котором она живет.

— Вот видишь, милейший Ронкероль, — говорил маркиз д'Эглемон брату г-жи де Серизи, — ты позавидовал моему счастью, увидав мою жену, и упрекнул меня в неверности. Право, ты бы убедился, что в моей участи мало завидного, если бы провел, как я, года два-три в обществе хорошенькой женщины, не осмеливаясь поцеловать ей руку из страха, что сломаешь ее. Не гонись за изысканными безделушками, они хороши только под стеклом; они так хрупки, так дороги, что их

приходится беречь. Неужто ты выедешь в ливень или снег на своем великолепном скакуне, над которым, говорят, ты дрожишь? Вот такие-то у меня дела. Конечно, я уверен в добродетели жены; но, право же, брак мой — предмет роскоши, и если ты воображаешь, что я женат, то глубоко ошибаешься. Измены мои, право, простительны. Хотелось бы мне знать, господа шутники, что бы вы делали на моем месте. Многие обращались бы со своими женами не так бережно. Я уверен, — добавил он, понизив голос, — что моя жена ничего не подозревает. И мне, конечно, нечего жаловаться, я очень доволен… Хотя и весьма неприятно человеку чувствительному видеть, как недуг подтачивает бедное создание, к которому привязан…

— Да ты, верно, уж очень чувствителен, раз так редко бываешь дома, — вставил г-н Ронкероль.

Дружеская шутка вызвала веселый хохот. Только Артур по-прежнему был холоден и невозмутим, как подобает джентльмену, который считает, что серьезность должна быть основой характера. Недомолвки маркиза, очевидно, внушили какие-то надежды молодому англичанину, потому что он терпеливо стал ждать возможности поговорить наедине с г-ном д'Эглемоном, и

случай этот скоро представился.

— Сударь, — обратился Артур к маркизу, — я с бесконечным огорчением вижу, насколько подорвано здоровье вашей супруги, и если б вы знали, что при отсутствии особого ухода она обречена на мучительную смерть, вы бы, мне кажется, не шутили ее болезнью. Я взял на себя смелость сказать вам об этом, ибо вполне уверен, что мне удастся спасти госпожу д'Эглемон и вернуть ее к жизни и счастью. Кажется маловероятным, что человек моего круга — врач, и все же это так: судьбе было угодно, чтобы я изучил медицину. К тому же, — сказал он, прикидываясь черствым эгоистом, что должно было помочь его замыслу, — меня преследует хандра, и мне безразлично, тратить ли время в путешествиях ради того, чтобы принести пользу страждущему существу, или же ради удовлетворения своих пустых фантазий. Случаи излечения заболеваний такого рода редки, потому что требуют много забот, времени и терпения; главное же, нужно иметь состояние, путешествовать, тщательно следовать предписаниям врача — они меняются ежедневно, но в них нет ничего неприятного. Ведь мы с вами джентльмены, — сказал он, подчеркивая всю значительность этого английского слова, — и мы поймем друг друга.

Если вы примете мое предложение, то ежеминутно будете судьей моего поведения, заверяю вас в этом. Я не стану ничего предпринимать, не посоветовавшись с вами, без вашего надзора, и я отвечаю вам за успех, если вы послушаетесь меня. Да, если вы согласитесь долгое время не быть мужем госпожи д'Эглемон, — прошептал он на ухо маркизу.

— Уж конечно, милорд, — со смехом заметил д'Эглемон, — только англичанин может сделать такое странное предложение. Позвольте мне и не отклонять его, и не принимать; я подумаю. И прежде всего я должен спросить мнение моей жены.

В этот миг Жюли вновь появилась у рояля. Она спела арию Семирамиды «Son regina, son guerriera»[2]. Дружные, но, так сказать, приглушенные аплодисменты, вежливые рукоплескания Сен-Жерменского предместья говорили о том, что слушатели восхищены ею.

Когда д'Эглемон с женою вернулись в свой особняк, Жюли ощутила какую-то тревожную радость, увидев, как быстро ее затея увенчалась успехом. Муж ее, подстрекаемый той ролью, ко-

---

[2] Примечания: 2

«Я царица, я воительница» (*ит.).*

торую она разыграла, вздумал оказать ей честь своим вниманием и стал ухаживать за нею, как ухаживал бы за актрисой. Жюли показалось забавным, что с нею, добродетельной замужней женщиной, так обходятся; она попыталась поиграть своею властью, но в первой же схватке пала еще раз из-за своего смирения, и то был самый страшный урок из всех, какие уготовила ей судьба. Часа в два-три ночи Жюли сидела в мрачной задумчивости на супружеском ложе; лампа, мигая, освещала комнату; царила глубокая тишина, и около часу маркиза, измученная раскаянием, заливалась слезами, горечь которых могут понять лишь женщины, попавшие в такое же положение. Нужно было обладать душою Жюли, чтобы почувствовать, подобно ей, как отвратительна рассчитанная ласка, как оскорбителен холодный поцелуй и отступничество сердца, отягченное мучительным сознанием своей продажности. Она перестала уважать себя, она проклинала замужество, ей хотелось умереть; и если бы дочь ее не вскрикнула во сне, она, быть может, бросилась бы из окна на мостовую. Г-н д'Эглемон безмятежно спал рядом с нею, и его не могли разбудить горячие слезы, падавшие на него. На другой день Жюли удалось притворить-

ся веселой. У нее явились силы, чтобы казаться счастливой и скрывать не только грусть, но и непреодолимое отвращение. С этого дня она уже не считала себя безупречной женщиной. Ведь она лгала себе! Ведь она способна на обман! Ведь в дальнейшем она, пожалуй, будет с искусным вероломством скрывать свои измены мужу! В самом ее браке таилась причина вполне возможной развращенности, которая пока еще ни в чем не выразилась.

А между тем Жюли уже задумывалась: к чему противиться человеку, в которого она влюблена, раз она отдалась вопреки велению сердца и голосу природы мужу, которого разлюбила? Все ошибки и, может статься, даже преступления основаны на неправильных рассуждениях или чрезмерном себялюбии. Общество может существовать лишь благодаря личному самопожертвованию, которого требуют законы.

Принимать блага, даваемые обществом, — значит принимать на себя и обязательство поддерживать условия, благодаря которым оно существует. Люди обездоленные, у которых нет куска хлеба, но которые обязаны уважать чужую собственность, достойны не меньшего сострадания, нежели женщины, оскорбленные в своих

желаниях и душевной щепетильности. Через несколько дней после сцены, тайны которой были погребены в супружеской спальне, д'Эглемон представил жене лорда Гранвиля. Жюли приняла Артура с холодной вежливостью, что делало честь ее скрытности. Она заглушила порывы своего сердца, взгляд ее был непроницаем, голос тверд, и поэтому ей удалось остаться госпожой своего будущего. Затем, поняв, благодаря врожденному женскому чутью, как сильна внушенная ею любовь, г-жа д'Эглемон обрадовалась надежде на скорое выздоровление и больше не противилась настояниям мужа, который уговаривал ее лечиться у молодого доктора. Однако она решила не доверяться лорду Гранвилю до тех пор, покуда не разгадает его мыслей и поведения и не убедится в том, что по благородству души он будет страдать молча. Власть над ним у нее была полная, она уже злоупотребляла ею — ведь она была женщиной!

Монконтур — старинный замок, стоящий на одной из тех бурых скал, у подножия которых протекает Луара, неподалеку от места, где Жюли останавливалась в 1814 году. Это один из тех небольших уютных, беленьких замков, каких немало в Туре-ни, — с резными башенками,

словно сплетенными из фландрских кружев; один из тех маленьких нарядных замков, что отражаются в воде вместе с тутовыми рощицами, виноградниками, откосами горных дорог, длинными ажурными балюстрадами, пещерами в скалах, зелеными завесами из плюща и крутыми склонами. Крыши Монконтура горят под лучами солнца, все сияет. Многое здесь напоминает Испанию, и это придает месту поэтичность; воздух напоен ароматом золотистого дрока и колокольчиков, веет теплый ветерок; повсюду веселые пейзажи, и повсюду сладостные чары покоряют душу, нежат ее, восхищают, умиротворяют и баюкают. Прекрасный и ласковый край этот усыпляет горести и пробуждает любовь. Никому не устоять перед этим безоблачным небом, перед этими сверкающими водами. Здесь умирают честолюбивые помыслы, вы погружаетесь в беспредельное блаженство, подобно тому как солнце каждый вечер погружается в багряные и лазурные просторы.

В тихий августовский вечер 1821 года два путника взбирались по каменистым тропам, что вьются меж скал, на которых стоит замок, и направлялись к вершине холма, разумеется, чтобы полюбоваться живописными видами,

открывающимися оттуда. То были Жюли и лорд Гранвиль; но Жюли, казалось, стала совсем иной. У маркизы был яркий, здоровый румянец. Глаза ее, оживленные какою-то могучей силой, сверкали, и их влажный блеск напоминал лучистый взгляд детей, который придает их глазам такую неизъяснимую прелесть. Улыбка не сходила с ее лица; она радовалась жизни, она постигла смысл жизни.

По одному тому, как ступали ее ножки, видно было, что теперь недомогание не связывает ее движений, не мешает ей смотреть, говорить, ходить. Белый шелковый зонтик защищал ее от знойного солнца, и она походила на юную новобрачную под фатой, на непорочную девушку, готовую отдаться волшебству любви. Артур всю дорогу нежно заботился о ней, он вел ее, как ведут ребенка, выбирал путь поудобнее, обходил камни, то указывал на виды, открывавшиеся в просветах меж скал, то подводил к красивому цветку; им все время руководили доброта, чуткость, глубокое понимание того, как надобно поступить, чтобы этой женщине было хорошо, и чувства эти, казалось, были присущи ему так же, а может быть, даже и больше, чем все то, что он делал ради собственного благополучия. Больная

и врач шли в ногу, ничуть не удивляясь этому, ибо так повелось с того дня, когда они впервые пошли вдвоем; они подчинялись одной и той же воле, останавливались, поддаваясь одним и тем же ощущениям; взгляды их выражали мысли, возникавшие у них одновременно. Они поднялись по тропинке, проложенной меж виноградников, до самой вершины, и им захотелось отдохнуть на одном из тех больших камней, которые добывают в здешних каменоломнях. Но Жюли все стояла, любуясь ландшафтом.

— Какой чудесный край! — воскликнула она. — Давайте раскинем палатку и будем здесь жить, Виктор! — крикнула она. — Да идите же сюда, идите сюда!

Господин д'Эглемон отозвался снизу охотничьим посвистом, но идти не спешил; однако он то и дело посматривал на жену, когда ему было видно ее на поворотах дорожки. Жюли с упоением вдыхала воздух, запрокидывая голову и бросая на Артура выразительные взгляды, в которые умная женщина умеет вложить свои мысли.

— Ах как бы мне хотелось остаться здесь навсегда! — продолжала она. — Разве можно налюбоваться этой прекрасной долиной? А как хороша река! Вы не знаете, как называется эта

прелестная река, милорд?

— Это Сиза.

— Сиза, — повторила она. — А что вот тут, перед нами?

— Шерские холмы, — сказал он.

— А направо? Ах да, это Тур! Взгляните, как хороши издали колокольни собора!

Она умолкла и опустила на руку Артура свою руку, которой указывала на город. Они в молчании любовались природой, гармонической красотою пейзажа. Плеск реки, прозрачность воздуха и неба — все сочеталось с мыслями, которыми полнились их молодые влюбленные сердца.

— О, боже мой, как мне нравится этот край! — повторила Жюли под наплывом чистых, восторженных чувств. — Вы здесь долго жили? — спросила она, помолчав.

При этих словах лорд Гранвиль вздрогнул.

— Вон там, — грустно сказал он, показывая на ореховые деревья, стоявшие у дороги, — там я, пленник, впервые увидел вас…

— Да, мне было тогда очень тоскливо. Здешняя природа казалась мне такой дикой, а теперь…

Она замолчала; лорд Гранвиль не осмелился взглянуть на нее.

— Вам я обязана этим удовольствием, — проговорила наконец Жюли после долгого молчания, — только живой может ощутить радость жизни, а ведь я до сих пор была мертва. Вы дали мне больше, чем здоровье, вы научили меня ценить его…

Женщины наделены неподражаемым даром выражать свои чувства без пышных фраз; женское красноречие — в звучании голоса, в движении, позе и взгляде. Лорд Гранвиль закрыл лицо рукой, ибо глаза его наполнились слезами. В первый раз со дня их отъезда из Парижа Жюли благодарила его. Целый год он самоотверженно заботился о ней. Вместе с д'Эглемоном он сопровождал ее на воды в Экс, потом на морское побережье, в Ла-Рошель. Он неотступно следил за тем, как в подорванном организме Жюли восстанавливаются силы под воздействием его разумных и простых предписаний, он выхаживал ее, как страстный садовод выхаживает редкостный цветок. Маркиза же, казалось, принимала искусное врачевание Артура с эгоизмом парижанки, привыкшей к поклонению, или с беззаботностью куртизанки, которая не ведает ни стоимости вещей, ни цены человеку и пользуется ими, покуда они ей нужны.

Влияние природы на душу достойно замечания. Если нас неминуемо охватывает печаль, когда мы попадаем на берег вод, то, по велению другого закона нашей впечатлительной натуры, в горах чувства наши очищаются: страсти там становятся менее пылкими, зато более глубокими. Вид обширного бассейна Луары, живописный и высокий холм, где сидели влюбленные, вероятно, способствовали блаженному покою, которым они наслаждались, тому счастью, которое вкушаешь, узнав, как необъятна любовь, скрываемая под словами, казалось бы, ничего не значащими. В тот миг, когда Жюли договаривала фразу, так глубоко взволновавшую лорда Гранвиля, летний ветерок всколыхнул верхушки деревьев, и от реки потянуло прохладой; гряда облаков заслонила солнце, и легкие тени придали особую прелесть прекрасному пейзажу. Жюли отвернулась, чтобы скрыть от своего спутника слезы, которые ей удалось сдержать, хотя ей тотчас же передалось умиление Артура. Она не смела поднять глаза из страха, что он прочтет в них, как она счастлива. Женский инстинкт подсказал ей, что в этот решительный час она должна затаить свою любовь в глубине сердца. Меж тем молчание тоже могло стать опасным. Заметив, что лорд Гранвиль не в

силах произнести ни слова, она кротко сказала:

— Вас тронули мои слова, милорд. Какая у вас чуткая и добрая душа, если вы с такой откровенной радостью отказываетесь от ложного суждения о человеке! Вы считали меня неблагодарной, видя, что я то холодна и сдержанна, то насмешлива и равнодушна во время нашего путешествия, которое, к счастью, скоро окончится. Я была бы недостойна ваших забот, если б не умела оценить их. Милорд, я ничего не забыла! Увы! Я ничего не забуду — ни той заботливости, с какой вы пеклись обо мне, как мать печется о ребенке, ни, особенно, той благородной доверчивости, с которой вы вели со мною дружеские беседы, ни вашей чуткости; против этих соблазнов мы, женщины, безоружны. Милорд, вознаградить вас я не могу… С этими словами Жюли поспешно отошла в сторону, и лорд Гранвиль не сделал ни малейшей попытки удержать ее. Маркиза остановилась на скале, неподалеку от него, и застыла в неподвижности, чувства их были тайной для них самих; оба они молча проливали слезы; пение птиц, такое веселое, такое нежное и выразительное на закате солнца, должно быть, усиливало безудержное волнение сердец, заставившее их расстаться: сама природа шептала им о любви, о

которой они не осмеливались обмолвиться.

— Итак, милорд, — продолжала Жюли, встав перед ним с видом, полным достоинства, позволившим ей взять Артура за руку, — прошу вас, оставьте в чистоте и непорочности жизнь, которую вы вновь вдохнули в меня. Мы сейчас простимся. Я знаю, — прибавила она, заметив, как побледнел Артур, — что в награду за вашу преданность я требую от вас жертвы, превышающей все те великие жертвы, за которые я должна бы отблагодарить вас… Но так надо. Уезжайте из Франции. Велеть вам это — не значит ли дать вам права, которые будут священны? — прибавила она, прижимая руку молодого человека к своему трепещущему сердцу.

— Разумеется, — произнес Артур, вставая.

И он указал на д'Эглемона, который в этот миг появился с дочкой на руках по ту сторону дороги, на балюстраде замка. Он взобрался туда, чтобы доставить удовольствие маленькой Елене.

— Жюли, я не буду говорить вам о своей любви, души наши отлично понимают друг друга. Как бы глубоки, как бы затаены ни были мои сердечные радости, вы их разделяли. Я это чувствую, я это знаю, я это вижу. Теперь у меня есть чудесное доказательство, но я бегу прочь… Столько раз я

строил хитрые планы, как бы избавиться от этого человека… Мне не устоять перед искушением, если я останусь возле вас.

— И мне приходила такая мысль, — тихо сказала Жюли, и на ее взволнованном лице появилось выражение горестного удивления.

Но в тоне и в жестах Жюли было столько добродетели, столько уверенности в себе и столько скрытого торжества победы, одержанной над любовью, что лорд Гранвиль замер в благоговении.

Даже тень преступления исчезла из этой чистой души. Религиозное чувство, освещавшее прекрасное лицо Жюли, всегда отгоняло от нее невольные греховные помыслы, которые порождает наша несовершенная природа и которые показывают, сколько возвышенного и одновременно сколько гибельного таится в нашей судьбе.

— Тогда, — промолвила она, — я бы навлекла на себя ваше презрение. И это спасло бы меня, — прибавила она, потупившись. — Потерять ваше уважение — ведь это значит умереть!

И влюбленные еще с минуту постояли молча, героически стараясь преодолеть душевную боль; хороши ли, плохи ли были их мысли, они всегда были схожи, и оба понимали друг друга как

в сердечных радостях, так и в утаенных своих горестях.

— Я не должна роптать, я сама виновата в своем несчастье, — прибавила Жюли, подняв к небу глаза, полные слез.

— Милорд, — закричал генерал со своего места, размахивая рукой, — а ведь именно здесь мы с вами встретились в первый раз, помните? Вон там, возле тополей.

Артур ответил коротким кивком.

— Мне суждено умереть молодой и несчастной, — говорила Жюли. — Да, не думайте, что я буду жить. Горе будет таким же смертельным, как ужасный недуг, от которого вы меня излечили. Я не считаю себя преступницей. Нет, чувство, которое я питаю к вам, непреодолимо, вечно, и я не властна в нем, но я хочу остаться добродетельной. Я буду верна своему супружескому и материнскому долгу и велениям своего сердца. Послушайте, — сказала она изменившимся голосом, — никогда больше я не буду принадлежать этому человеку, никогда!

И с нескрываемым отвращением и ужасом Жюли указала рукой на мужа.

— Законы света, — прибавила она, — требуют, чтобы я сделала его существование счастливым,

и я подчиняюсь; я буду его служанкой; моя преданность ему будет безгранична, но с этого дня я вдова. Я не желаю быть падшей ни в своих глазах, ни в глазах света; я не принадлежу более господину д'Эглемону и никогда не буду принадлежать никому другому. Вы добились от меня признания, но ничего более вы не добьетесь. Вот приговор, который я себе вынесла, — сказала она, гордо взглянув на Артура, — решение мое бесповоротно, милорд. Знайте же, что если вы поддадитесь преступной мысли, вдова господина д'Эглемона уйдет в монастырь — в Италии или в Испании. Року было угодно, чтобы мы, на горе себе, заговорили о нашей любви. Быть может, эти признания были неизбежны; но пусть наши сердца так сильно бились в последний раз. Завтра вы скажете, что получили письмо, которым вас вызывают в Англию, и мы расстанемся навсегда.

И Жюли, обессиленная душевным напряжением, почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, ее охватил смертельный холод; подумав о том, как бы не упасть в объятия Артура, — а так подумала бы каждая женщина, — она опустилась на камень.

— Жюли! — воскликнул лорд Гранвиль.

Громкий крик этот раздался как раскат грома.

Этот вопль отчаяния выразил все то, что влюбленный, до сих пор хранивший молчание, не мог высказать.

— Ну, что там? Что случилось? — спросил генерал.

Услыхав крик, он поспешил к ним и внезапно очутился перед влюбленными.

— Пустяки, — сказала Жюли с тем изумительным хладнокровием и находчивостью, которое зачастую проявляют женщины в трудную минуту жизни. — Под этим орешником так сыро и холодно, что мне чуть не стало дурно, и мой доктор, вероятно, испугался. Ведь я для него еще незаконченное произведение искусства, и он, должно быть, содрогнулся при мысли, что оно разобьется.

Она смело взяла под руку лорда Гранвиля, улыбнулась мужу, окинула взглядом пейзаж, прежде чем покинуть вершину холма, и повлекла за собой своего спутника.

— Отсюда, по-моему, открывается самый прекрасный ландшафт, какой мы только видали, — сказала она. — Я никогда его не забуду. Посмотрите, Виктор, какие дали, какой простор, какое разнообразие! Здесь я начинаю постигать, что такое любовь.

Смеясь каким-то судорожным смехом, чтобы обмануть мужа, она сбежала с откоса на дорогу и скрылась.

— Неужели так скоро!.. — воскликнула она, когда г-н д'Эглемон уже не мог их слышать. — Неужели, друг мой, через какую-нибудь минуту мы уже больше не будем и никогда не сможем быть самими собой? Словом, неужели жизнь кончена?..

— Пойдемте медленнее, — ответил лорд Гранвиль, — до колясок еще далеко. Мы будем идти рядом, и если нам дозволено говорить взглядами, то сердца наши проживут мгновением больше…

Они прошлись по насыпи, вдоль берега реки, освещенного последними лучами заката, почти не разговаривая, роняя какие-то бессвязные слова, тихие, как плеск Луары, но трогавшие душу. Заходящее солнце, печальный образ их роковой любви, прежде чем скрыться, озарило их багряным отблеском. Генерал встревожился, не видя своей кареты там, где ее оставили, и то шел вслед за влюбленными, то забегал вперед, не вмешиваясь в их беседы. Благородство и сдержанность, которые проявлял лорд Гранвиль во время путешествия, рассеяли подозрения маркиза, и с некоторых пор он предоставлял жене пол-

ную свободу, полагаясь на мнимое бескорыстие лорда-доктора. Артур и Жюли все шли, и их истомленные сердца бились в печальном и унылом согласии. Еще недавно, когда они пробирались по крутым склонам Монконтура, в них теплилась смутная надежда, они ощущали какую-то тревожную радость и не осмеливались отдать себе в ней отчет; но, спускаясь вдоль насыпи, они разрушили воздвигнутое их воображением хрупкое здание, на которое они боялись дохнуть, подобно детям, знающим, что карточный домик, построенный ими, вот-вот рухнет. Они потеряли надежду. В тот же вечер лорд Гранвиль уехал. Последний взгляд, брошенный им на Жюли, к несчастью, доказал, что с того мгновения, когда взаимное влечение сердец открыло им, как велика сила страсти, он был прав, не полагаясь на себя.

На другой день г-н д'Эглемон с женой сидели в карете без своего спутника и мчались по той дороге, по которой Жюли ехала в 1814 году, еще не ведая тогда страсти и почти готовая проклинать постоянство в любви. Теперь ей вспомнилось множество забытых впечатлений. У сердца свои воспоминания. Иногда женщина не помнит событий самых важных, зато на всю жизнь остается

у нее в памяти то, что относится к миру чувств. Так и в памяти Жюли четко запечатлелись даже незначительные подробности; она с радостью припомнила все, что происходило с нею во время путешествия, вплоть до того, о чем она думала в том или ином месте дороги. Виктор, вновь воспылавший страстью к Жюли с той поры, как к ней вернулись свежесть, молодость и красота, влюбленно склонился к жене. Когда он попытался обнять ее, она слегка отстранилась и нашла какой-то предлог, чтобы избежать этой невинной ласки. Ей стало противно даже соседство Виктора; они сидели так близко друг к другу, что она ощущала, как ей передается тепло его тела. Она выразила желание пересесть на переднее место, но муж был так любезен, что оставил ее одну в глубине кареты. Она поблагодарила его за внимание вздохом, который он понял превратно: бывший гарнизонный обольститель по-своему истолковал печальное настроение жены, так что Жюли вынуждена была к концу дня объясниться с ним, и она сделала это с твердостью, внушившей ему уважение.

— Друг мой, — сказала она ему, — вы уже чуть не свели меня в могилу; вы это знаете. Будь я еще неопытной девушкой, я бы могла вновь пожерт-

вовать вам своей жизнью; но я мать, мне надобно воспитать дочку, и я сознаю свои обязанности по отношению к ней так же, как сознаю их и по отношению к вам. Будем же стойко терпеть горькую участь, постигшую нас обоих. Вы меньше заслуживаете сожаления, нежели я. Ведь вы находили рассеяние в том, что мне запрещает мой долг, честь нашей семьи и, главное, вся моя душа. Ведь вы, — добавила она, — по легкомыслию своему забыли на столе три письма госпожи де Серизи; вот они. Я долго молчала, и это доказывает, что во мне вы нашли жену, полную снисходительности, не требующую от вас тех же жертв, на которые ее обрекают законы; но я много размышляла и поняла, как различны наши роли, поняла, что скорбная судьба — удел одних лишь женщин. Добродетель моя основана на незыблемых, твердых устоях. Я буду вести безупречный образ жизни; но позвольте мне жить так, как я хочу.

Маркиз, ошеломленный логикой, постигнуть которую помогает женщинам свет любви, был покорен величавым достоинством, свойственным женщине в решительные минуты жизни. Инстинктивное отвращение Жюли ко всему, что оскорбляло ее любовь и веления ее сердца, является одним из прекраснейших качеств жен-

щины и исходит, быть может, от ее врожденной добродетели, которую не заглушат ни законы, ни цивилизация. Да и кто осмелился бы хулить женщин? Ведь они похожи на священника, утратившего веру, когда вынуждают замолчать то благородное чувство, которое не позволяет им принадлежать двоим. Если иные суровые умы осудят своеобразную сделку, которую заключила Жюли между долгом и любовью, то страстные души сочтут ее преступлением. Это всеобщее порицание говорит о несчастьях, которые суждены тому, кто не подчиняется законам, и о печальных несовершенствах устоев, на которых зиждется европейское общество.

Прошло два года; супруги д'Эглемон вели светский образ жизни обособленно друг от друга и встречались чаще в чужих гостиных, нежели у себя дома; то был изысканный разрыв, которым кончаются многие великосветские браки. Однажды вечером супруги против обыкновения встретились у себя в гостиной. Г-жа д'Эглемон пригласила к обеду одну из своих подруг. Генерал же, всегда обедавший в городе, в этот день остался дома.

— Сейчас я вас обрадую, маркиза, — сказал д'Эглемон. Допив кофе и ставя чашку на стол,

он бросил на госпожу де Вимфен какой-то печальный и насмешливый взгляд и добавил: — Я уезжаю на охоту с обер-егермейстером, и надолго. По крайней мере, на неделю вы овдовеете, а мне кажется, вы ничего не имели бы против этого... Гильом, — обратился он к лакею, убиравшему посуду со стола, — велите закладывать.

Госпожа де Вимфен была той самой Луизой, которую Жюли когда-то собиралась предостеречь от замужества. Женщины обменялись понимающим взглядом, и по нему чувствовалось, что Жюли обрела в подруге наперсницу своих печалей, наперсницу чуткую и добросердечную, ибо сама г-жа де Вимфен была очень счастлива в браке; быть может, именно оттого, что судьба их сложилась по-разному, счастье одной служило порукой тому, что она сохранит преданность подруге в ее горькой доле. В подобных случаях несходство судеб почти всегда укрепляет дружбу.

— Разве теперь время для охоты? — спросила Жюли, бросив на мужа безразличный взгляд.

Март был на исходе.

— Обер-егермейстер, сударыня, охотится когда ему вздумается и где ему вздумается. Мы отправляемся в королевские угодья поохотиться

на кабанов.

— Будьте осторожны, берегите себя…

— Предвидеть несчастье нельзя, — ответил он, усмехаясь.

— Карета подана, — доложил Гильом.

Генерал встал, поцеловал руку г-жи де Вимфен и обернулся к Жюли.

— Сударыня, а вдруг я погибну, стану жертвой кабана! — проговорил он с просительным видом.

— Что это значит? — удивилась г-жа де Вимфен.

— Ну, хорошо, подойдите, — сказала Жюли Виктору. И она улыбнулась Луизе, словно говоря: «Сейчас сама увидишь».

Жюли потянулась навстречу мужу, который собирался поцеловать ее; но она наклонила голову, и супружеский поцелуй скользнул по рюшу ее пелерины.

— Вы будете свидетельствовать об этом перед богом, — сказал маркиз, обращаясь к г-же де Вим-фен, — мне надобен султанский указ, чтобы получить такую небольшую милость. Вот как моя жена понимает любовь. Она довела меня до этого уж не знаю какой хитростью… Честь имею кланяться!

И он вышел.

— Да твой бедный муж и вправду очень добрый! — воскликнула Луиза, когда женщины остались одни. — Он тебя любит.

— О, не добавляй ни звука к этому слову. Имя, которое я ношу, ненавистно мне.

— Но ведь Виктор беспрекословно подчиняется тебе, — заметила Луиза.

— Подчинение это, — ответила Жюли, — отчасти основано на том, что я сумела внушить ему глубокое уважение к себе. С точки зрения законов я весьма добродетельна; я создала уют в его доме, я закрываю глаза на его любовные похождения, я не прикасаюсь к его состоянию; он может проматывать доходы как ему заблагорассудится — я только забочусь о сохранении капитала. Такой ценою куплен мир. Он не уясняет, вернее, не хочет уяснить себе, чем я живу. Но хоть я и держу мужа в руках, все же я очень опасаюсь, что когда-нибудь его характер проявится. Я словно вожак медведя, который дрожит при мысли, что в один прекрасный день намордник порвется. Если Виктору вздумается, что он вправе не уважать меня больше, то страшно даже загадывать, что произойдет, ведь он вспыльчив, самолюбив и, главное, тщеславен. Он неумен, и ему не най-

ти мудрого выхода из сложного положения, в которое вовлекут его дурные страсти; вдобавок он слабохарактерен; убив меня, он сам, пожалуй, умер бы с горя на следующий же день. Но такого рокового счастья опасаться нечего…

Наступило молчание, подруги задумались и обратились к тайной причине того, что случилось.

— Меня наказали послушанием, — продолжала Жюли, бросая на Луизу многозначительный взгляд. — Но ведь я не запрещала *ему* писать ко мне. Ах, *он* забыл меня, и он прав! Как было бы ужасно, если бы жизнь его была разбита! Разве не достаточно моей? Поверишь ли, дорогая, я читаю английские газеты в надежде увидеть его фамилию. Но он все еще не появился в палате лордов.

— Разве ты знаешь английский?

— А я тебе не говорила?.. Я научилась.

— Бедняжка! — воскликнула Луиза, схватив Жюли за руку. — Как ты можешь жить?

— Это тайна, — отвечала маркиза, погрозив ей пальцем с какой-то детской важностью. — Слушай. Я принимаю опиум. История герцогини де ***в Лондоне натолкнула меня на эту мысль. Помнишь, Мэтьюрин написал роман на эту тему? Лаудановые капли слишком слабы для меня. Я сплю. Бодрствую я всего лишь часов семь и про-

вожу их с дочкой.

Луиза смотрела на огонь: она боялась взглянуть на подругу, все злоключения которой впервые предстали перед ее глазами.

— Луиза, храни тайну, — сказала Жюли после минутного молчания.

В этот миг лакей принес маркизе письмо.

— Боже мой! — воскликнула она, бледнея.

— Не спрашиваю, от кого оно, — сказала г-жа де Вимфен.

Маркиза читала и ничего уже не слышала; ее подруга видела, что г-жа д'Эглемон то краснеет, то бледнеет, что на лице ее отражаются обуревающие ее чувства и опасное, восторженное возбуждение. Наконец Жюли бросила листок в огонь.

— Это письмо словно обожгло меня! Ах, я задыхаюсь!

Она встала, прошлась по комнате; глаза ее горели.

— Он не уезжал из Парижа! — воскликнула она.

Госпожу Вимфен пугали и лихорадочная речь Жюли, которую она не решалась остановить, и ее внезапные долгие паузы. Каждый раз после молчания она говорила все взволнованнее и

взволнован-нее. Последние слова таили в себе что-то зловещее.

— Он продолжал украдкой видеть меня. Он каждый день ловит мой взгляд, и это помогает ему жить. Пойми, Луиза, он умирает и просит позволения сказать мне «прости»; он знает, что моего мужа не будет дома несколько дней, и сейчас сюда приедет. Ах, я погибну! Я пропала! Послушай, останься со мной. Если мы будем вдвоем, он не осмелится! О, не покидай меня, я боюсь самой себя!

— Но мой муж знает, что я обедала у тебя, и должен приехать за мной, — ответила г-жа де Вимфен.

— Пусть так, я удалю Артура до твоего отъезда. Я буду своим и его палачом. Увы! Он подумает, что я разлюбила его. О, это письмо! Дорогая, некоторые фразы я вижу перед собою; они начертаны огненными буквами.

В ворота въехала карета.

— Вот как! — почти радостно воскликнула маркиза. — Он приехал открыто, не таясь.

— Лорд Гранвиль! — доложил лакей.

Маркиза стояла выпрямившись, словно застыв. Артур был так бледен, так худ и истощен, что невозможно было встретить его сурово. Он был

раздражен тем, что Жюли не одна, но казался бесстрастным и спокойным. Однако подруги, посвященные в тайну его любви, вдруг почувствовали в сдержанности его, в голосе, в выражении глаз что-то от той силы, которая приписывается электрическому скату. Маркиза и г-жа де Вимфен словно оцепенели, так повлиял на них его скорбный и взволнованный вид. Звук голоса лорда Гранвиля привел г-жу д'Эглемон в мучительный трепет, она не решалась отвечать ему из страха, что он увидит, как велика его власть над ней; лорд Гранвиль не решался смотреть на Жюли; поэтому на долю г-жи де Вимфен выпала обязанность поддерживать скучную беседу; Жюли взглядом, преисполненным трогательной признательности, поблагодарила ее за помощь. Влюбленные подавили свои чувства и принуждены были держаться в границах, предписанных долгом и приличиями. Но вот доложили о приезде г-на де Вимфена; когда он вошел, подруги обменялись взглядом и поняли без слов, как осложнилось положение. Посвящать г-на де Вимфена в тайну этой драмы было невозможно, а у Луизы не было веских доводов, чтоб муж согласился оставить ее у Жюли. Когда г-жа де Вимфен накинула шаль, Жюли встала, подошла к подруге, словно для того,

чтобы помочь ей завязать шаль, и тихо сказала:

— Я буду мужественна. Раз он открыто приехал ко мне, чего же мне бояться? Но, не будь тебя, я бы сразу, увидев, как он изменился, упала к его ногам.

— Итак, Артур, вы меня не послушались, — промолвила г-жа д'Эглемон дрожащим голосом, вновь опускаясь на кушетку, на которую лорд Гранвиль не осмелился пересесть.

— Я больше не мог противиться искушению услышать ваш голос, побыть около вас. Это стало безумием, бредом. Я уже не владею собою. Я много размышлял; у меня больше нет сил. Я должен умереть. Но умереть, не повидав вас, не услышав шелеста вашего платья, не удержав в памяти ваши слезы, — какая страшная смерть!

Он стремительно отпрянул от Жюли, и из его кармана выпал пистолет. Маркиза смотрела на оружие взглядом, не выражавшим ни чувств, ни мысли. Лорд Гранвиль поднял пистолет и, видимо, был очень раздосадован этим происшествием, которое могло показаться преднамеренным.

— Артур! — молвила Жюли.

— Сударыня, — ответил он, потупившись, — меня привело к вам отчаяние, я хотел…

Он умолк.

— Вы хотели покончить с собой в моем доме? — воскликнула она.

— Не только с собой, — тихо ответил он.

— Так, быть может, вы хотели убить и моего мужа?

— Нет, нет! — закричал он, задыхаясь. — Но успокойтесь же, мой злосчастный замысел не осуществится. Как только я вошел к вам, как только увидел вас, я сразу обрел в себе мужество, я буду молчать, я умру один.

Жюли встала и бросилась в объятия Артура, который сквозь рыдания своей любимой услышал слова, полные страсти.

— Познать счастье и умереть... — произнесла она. — Пусть так.

История всей жизни Жюли вылилась в этом возгласе, идущем из глубины ее существа, в этом голосе плоти и любви, всевластном над женщинами неверующими; Артур обнял ее и перенес на диван; движения его дышали той силой, которую придает нам нежданное счастье. Но маркиза внезапно вырвалась из объятий возлюбленного, устремила на него неподвижный взгляд, какой бывает у женщины, доведенной до отчаяния, схватила свечу, взяла его за руку и повлекла в свою спальню; она подошла к кровати, на ко-

торой спала Елена, осторожно откинула полог, заслонив ладонью свечу, чтобы свет не падал на прозрачные полусомкнутые веки девочки. Елена спала, разметав ручки, и во сне улыбалась. Жюли взглядом показала лорду Гранвилю на ребенка. Все было сказано этим взглядом.

«Мужа мы можем бросить, даже если он любит нас. Мужчина — существо сильное, он найдет себе утешение. Мы можем презирать законы света. Но как может мать оставить своего ребенка!»

Все эти мысли и множество других, еще более трогательных, отразились в ее взгляде.

— Мы увезем ее с собой, — шепотом сказал Артур. — Как я буду ее любить!..

— Мама! — промолвила Елена, просыпаясь.

Жюли залилась слезами. Лорд Гранвиль сел и, скрестив руки на груди, застыл в мрачном молчании.

«Мама!» Этот милый, этот наивный возглас пробудил в душе Жюли столько благородных чувств, столько непреодолимой нежности, что властный голос материнства на мгновение победил любовь. Жюли забыла о том, что она женщина, она стала только матерью. Лорд Гранвиль не мог долго противиться, слезы Жюли обезоружили его. Вдруг где-то с грохотом распахнулась дверь,

и окрик: «Жюли, ты у себя?» — раскатами грома отдался в сердцах влюбленных. Вернулся маркиз. Не успела Жюли взять себя в руки, как генерал направился из своего кабинета в спальню жены. Комнаты были смежные. По счастию, Жюли сделала знак лорду Гранвилю, он бросился в умывальную, и маркиза стремительно захлопнула за ним дверь.

— Ну-с, женушка, вот и я; поохотиться не удалось. Я ложусь спать.

— Спокойной ночи, — ответила она, — я тоже собираюсь лечь. Оставьте меня.

— Сегодня вы не очень ласковы. Повинуюсь вам, маркиза.

Генерал вернулся к себе, Жюли проводила его до двери, соединяющей их комнаты, затворила ее и поспешила освободить лорда Гранвиля. Она обрела присутствие духа и подумала, что визит врача, лечившего ее, вполне естествен; она могла просто-напросто оставить лорда в гостиной, когда шла укладывать дочку; она решила сказать Артуру, чтобы он бесшумно пробрался туда, но, приоткрыв дверь умывальной комнаты, она пронзительно вскрикнула: лорду Гранвилю створкой двери прищемило и раздавило пальцы.

— Что там такое случилось? — спросил ее муж.

— Ничего-ничего, — ответила она, — я уколо-лась булавкой.

Дверь в комнату генерала вдруг снова распах-нулась. Маркиза подумала, что муж пришел, тревожась о ней, и проклинала его внимание, в котором не было ничего от сердца. Она поспеши-ла опять затворить дверь умывальной комнаты, и лорд Гранвиль не успел высвободить руку. В самом деле, генерал появился снова; но маркиза ошиблась: его привело сюда беспокойство о соб-ственной персоне.

— Одолжи-ка мне фуляр! Болван Шарль оставил меня без головного платка. В первые дни нашего брака ты входила во все мои дела, во все мелочи с такой заботливостью, что даже надоедала. Эх, недолго длился медовый месяц ни для меня, ни для моих галстуков! Теперь я во власти слуг, и они издеваются надо мной.

— Вот вам фуляр. Вы не заходили в гостиную?

— Нет.

— Вы застали бы там лорда Гранвиля.

— Разве он в Париже?

— Как видите.

— Что ж, схожу туда… Это милейший чело-век…

— Да он, должно быть, уже уехал! — восклик-

нула Жюли.

Маркиз стоял посреди комнаты и повязывал голову фуляром, самодовольно глядясь в зеркало.

— Не знаю, куда запропастились слуги, — сказал он. — Я три раза звонил Шарлю, а его все нет. Вы, что же, обходитесь без горничной? Позвоните-ка ей, пусть мне принесут на ночь еще одно одеяло.

— Полина ушла со двора, — сухо ответила маркиза.

— В полночь? — воскликнул генерал.

— Я отпустила ее в театр.

— Странно! — заметил муж, раздеваясь. — Я как будто видел ее, когда поднимался по лестнице.

— Ну, значит, она вернулась, — сказала Жюли, притворяясь, будто все это ей наскучило.

Чтобы не возбудить подозрения у мужа, она потянула за шнурок звонка, но потянула чуть-чуть.

Не все события той ночи хорошо известны; однако все они, очевидно, были так же просты, так же ужасны, как и те будничные семейные дела, которые им предшествовали. На следующий день маркиза д'Эглемон слегла.

— Что у тебя стряслось, отчего все толкуют о твоей жене? — спросил г-н де Ронкероль у г-на д'Эглемона несколько дней спустя после этой

ночи, полной трагических событий.

— Послушайся меня, не женись, — ответил д'Эглемон. — Вспыхнул полог кровати, на которой спала Елена; мою жену это так потрясло, что она расхворалась, по словам врача, на целый год. Женишься на красотке — она дурнеет; женишься на девушке, пышущей здоровьем, — она чахнет; считаешь ее страстной, а она холодна; бывает, что с виду она холодна, на самом же деле пылает такими страстями, что сгубит тебя или обесчестит. Кроткая девица становится строптивой, зато уж строптивая никогда не станет кроткой; девочка, которую ты принимал за глупенькое и слабое существо, обнаруживает перед тобою железную волю, дьявольский ум. Надоела мне супружеская лямка.

— А может быть, жена?

— Да нет, где уж там... Кстати, не хочешь ли пойти в церковь Фомы Аквинского на отпевание лорда Гранвиля?

— Странное развлечение! А известно ли, — прибавил Ронкероль, — от чего он умер?

— Его камердинер утверждает, будто лорд просидел на чьем-то балконе целую ночь напролет, чтобы спасти честь своей любовницы, а ведь все эти дни стоял лютый холод.

— Такое самопожертвование должно бы вызвать в нашем кругу, кругу людей бывалых, уважение; но лорд Гранвиль был молод и к тому же… англичанин. Англичане вечно чудят.

— Что там толковать, — отвечал д'Эглемон, — эдакие героические поступки зависят от женщины, которая вдохновляет на них, и уж, разумеется, не из-за моей жены погиб бедняга Гранвиль.

II
Неведомые муки

От небольшой реки Луены до Сены простирается широкая равнина, которая граничит с лесом Фонтенбло и городами Морэ, Немуром и Монтро. В том засушливом крае лишь кое-где увидишь редкие холмы, порою среди полей попадаются рощицы — пристанище для дичи; земля в серых и желтоватых полосах, убегающих вдаль, — в этом своеобразие просторов Солони, Боса и Берри. Посреди этой равнины, между Морэ и Монтро, перед глазами путника предстает старинный замок, именуемый замком Сен-Ланж, и местность вокруг него являет взору картину, не лишенную величия и торжественности. Красивые дороги, обсаженные вязами, рвы, длинные крепостные валы, обширные сады, просторные барские дома, на сооружение которых пошли доходы от откупов, незаконные поборы и узаконенные взятки или крупные дворянские состояния, которым ныне нанес сокрушительные удары «Гражданский кодекс». Если художнику или мечтателю доведется забрести на дороги с глубокими выбоинами или в

заболоченные низины, затрудняющие подступы к поместью, то он думает: по чьей же прихоти возник этот поэтический замок среди необозримых пажитей, среди пустошей, покрытых мелом, мергелем и песком, в местах, где угасает радость, где все неминуемо наводит на вас тоску, где душу вечно гнетет мертвая тишина и унылые дали, красоты мрачные, но благодетельные для страдальцев, которые не ищут утешения.

Молодая женщина, славившаяся в Париже изяществом, прекрасной внешностью, умом, положением в обществе, женщина, состояние которой было под стать ее известности, в конце 1820 года поселилась в замке, к великому удивлению жителей деревеньки, расположенной в миле от Сен-Ланжа. Фермеры и крестьяне с незапамятных времен не видели владетелей замка. Поместье, приносившее значительные доходы, было брошено на попечение управляющего и охранялось старыми слугами. Поэтому-то приезд маркизы вызвал настоящий переполох. У ворот захудалого трактира, стоявшего на околице у разветвления дорог в Немур и Морэ, собралась целая толпа, чтобы поглядеть, как проедет экипаж; он двигался довольно медленно, ибо маркиза ехала из Парижа на собственных лошадях. На переднем

месте в коляске сидела горничная и держала на коленях девочку, смотревшую задумчиво и печально. Мать лежала на подушках экипажа, словно умирающая, посланная врачами в деревню. Унылое выражение лица этой молодой болезненной женщины вовсе не понравилось сельским болтунам, которые питали надежду, что с ее приездом жизнь в их захолустье станет оживленнее. Сразу было видно, что всякое оживление неприятно этой хрупкой женщине.

Вечером присяжный умник из деревни Сен-Ланж, сидя в кабачке, в той комнате, где выпивали самые уважаемые лица, объявил, что маркиза наверняка разорилась — вид у нее уж очень хмурый. Покуда маркиз отсутствует — а в газетах пишут, что он сопровождает герцога Ангулемского в Испанию, — она прикопит в Сен-Ланже деньжат, чтобы восполнить убытки от неудачной игры на бирже. Маркиз слывет за крупного игрока. Может статься, землю распродадут мелкими участками. Тогда-то удастся поживиться. Надобно, чтобы каждый подсчитал свои сбережения, вытащил бы их из кубышек, подумал бы, чем располагает, и принял бы участие в растерзании Сен-Ланжа. Будущее это было столь заманчиво, что каждый именитый житель горел нетерпением разузнать,

имеют ли слухи основания, и придумывал, как бы разведать через слуг маркизы, правда ли все это; но никто из челяди не мог объяснить, что стряслось с их госпожой и что привело ее в начале зимы в старый замок Сен-Ланж, хотя она владела и другими поместьями, которые славились прекрасными садами и живописными видами. В замок явился мэр засвидетельствовать свое почтение маркизе, однако он не был принят. Вслед за мэром пришел управляющий, но с таким же успехом.

Маркиза покидала спальню лишь ненадолго, пока там убирали, и переходила тогда в небольшую соседнюю гостиную, там же она и обедала, если слово «обедать» означает сидеть за столом, с отвращением смотреть на кушанья и съедать ровно столько, сколько надобно, чтобы не умереть с голода. Затем она тотчас же возвращалась к себе и садилась в старинное глубокое кресло, которое стояло у единственного окна, выходившего в сад; в этом кресле она проводила время с самого утра. С дочкой своей она виделась лишь в считаные минуты, за невеселой трапезой, да и то, казалось, присутствие девочки было ей неприятно. Какие же неслыханные страдания заглушили материнские чувства у этой молодой

женщины? Слуги не имели к ней доступа. Единственным человеком, который умел угождать ей, была ее горничная. Маркиза требовала, чтобы в замке царила полная тишина, и ее дочери приходилось играть вдали от нее. Самый легкий шум был ей невыносим, и человеческий голос, даже голос собственного ребенка, раздражал ее. Местных жителей сначала очень занимали ее странности; но прошло время, все предположения были исчерпаны, и в окрестных городах и в деревнях перестали думать о больной женщине. Маркиза была предоставлена самой себе и могла хранить полное молчание среди немой тишины, царившей вокруг по ее требованию, и не было у нее предлога выходить из комнаты, обтянутой гобеленами, где умерла ее бабушка и куда она заточила себя, чтобы умереть тихо, без свидетелей, без назойливых посетителей, чтобы не видеть проявлений себялюбия, прикрытых лицемерной привязанностью, всего того, что в городах отягчает страдание умирающего.

Женщине этой было двадцать шесть лет. В этом возрасте душа еще преисполнена поэтических вымыслов и порою любит тешить себя мыслью о смерти, которая представляется ей благодеянием. Но смерть только заигрывает с молодыми

— то приблизится, то удалится, то покажется, то спрячется; она медлит, и они разочаровываются в ней, они не уверены, придет ли она завтра, и в конце концов вновь бросаются в вихрь жизни, навстречу горю, которое безжалостнее смерти и является, когда его не ждут. Итак, этой женщине, отрекшейся от жизни, суждено было испытать всю горечь такого промедления и в полном одиночестве, в нравственных мучениях, которых не хотела прекратить смерть, пройти ужасную школу себялюбия, которая должна была развратить ее сердце и приуготовить его к жизни светского общества. Эта жестокая и печальная наука всегда является плодом наших первых горестей. Маркиза по-настоящему страдала в первый и, быть может, в последний раз в жизни. В самом деле, не ошибается ли тот, кто воображает, что чувства умирают и рождаются вновь?

Возникнув, они живут вечно в глубине нашего сердца. Они дремлют и пробуждаются по воле случая; но они навсегда остаются в душе и меняют ее. У всякого чувства есть свой великий день, короткий или долгий, — день первой бури. Итак, горе самое стойкое из всех наших чувств, разит лишь при первом своем взрыве, а последующие удары становятся слабее — то ли

оттого, что мы привыкаем к его вспышкам, то ли оттого, что таков закон натуры нашей, которая ради самосохранения противопоставляет этой разрушительной силе силу равноценную, но бездеятельную, черпая ее из себялюбивых расчетов. Но какое же страдание души назвать горем? Утрата родителей — несчастье, к которому сама природа подготовила людей; боль физическая преходяща и не затрагивает душу, если же она упорствует, то это уже не боль, а смерть. Если молодая женщина теряет новорожденного, супружество скоро принесет ей в дар другого. Печаль эта также преходяща. Словом, все эти беды и множество других, им подобных, являются своего рода ударами, ранениями, но ни одно из них не поражает самый корень жизни, и только если они, по странному совпадению, следуют друг за другом, они убивают чувство, заставляющее нас искать счастье. Истинным большим горем, таким образом, можно назвать только тот смертоносный недуг, который объемлет прошлое, настоящее, будущее, не пощадив ни одной частицы жизни, навсегда калечит мысль, оставляет неизгладимый след на устах и на челе, сломив или ослабив стремление к радости, внушив отвращение ко всему сущему. И горе

это, чтобы стать безмерным, чтобы до такой степени тяготить душу и тело, должно постигнуть человека в ту пору, когда все силы души и тела молоды, когда сердце полно жизни. Тогда горе ранит глубоко, тогда велико страдание и нельзя исцелиться от такого недуга без неких драматических перемен: одни воспаряют на небеса, другие же, если и пребывают по-прежнему на грешной земле, возвращаются в свет, чтобы лгать свету, чтобы играть роль; отныне им известны кулисы, за которые люди прячутся для расчетов, слез, насмешек. После такого решающего перелома для них больше нет тайн в жизни общества, и она безвозвратно осуждена ими. У молодых женщин, ровесниц маркизы, причина такого первого, самого острого, горя всегда одна и та же. Женщина, и особенно молодая, душа которой так же хороша, как ее внешность, всю себя безраздельно посвящает тому, к чему ее толкает сама природа, чувство и общество. Если ее судьба сложилась неудачно и если она все-таки остается жить, то испытывает жесточайшие страдания по той же причине, которая превращает первую любовь в самое прекрасное из чувств. Почему несчастье это никогда не вдохновляет ни поэта, ни художника? Но можно ли изобразить его,

можно ли воспеть? Нет, страдания, которые ему сопутствуют, анализировать невозможно, нельзя передать их в красках. Да и тайну страданий этих никому не поверяют: чтобы утешить в них женщину, надобно разгадать их; ибо они, породив горестную замкнутость и возвышенность чувств, таятся в душе, подобно лавине, которая, низвергаясь в дол, сокрушит все на своем пути, прежде чем расчистить себе место.

В ту пору маркиза была во власти страданий, которые долго хранятся в тайне, потому что свет осуждает их; однако чувство лелеет их и совесть искренней женщины всегда их оправдывает. Страдания эти подобны сынам-неудачникам, более дорогим материнскому сердцу, нежели сыновья, преуспевающие в жизни. Быть может, никогда еще обстоятельства с такою силою, такою полнотой, такою беспощадностью не отягчали то ужасное крушение надежд, которое убивает все вокруг нас, как это произошло у маркизы. Человек, любимый ею, молодой, полный благородства, мольбам которого она не вняла, подчиняясь законам света, умер ради нее, ради того, чтобы спасти, как говорится в обществе, «честь женщины». Кому бы могла она сказать: «Я страдаю!» Слезы оскорбили бы ее мужа, первопричину ее гибели.

Законы, нравы не допускали жалоб; подруга злорадствовала бы, мужчина сделал бы на них ставку. Нет, эта женщина, удрученная своим горем, могла выплакаться только в пустыне и там либо преодолеть свое страдание, либо стать его жертвою, умереть или убить что-то в себе, быть может, свою совесть. Несколько дней просидела она, не сводя глаз с унылого горизонта. Там, как и в ее грядущем, нечего было искать, не на что надеяться; весь он был как на ладони, и ей казалось, что она беспрерывно видит воплощение холодной тоски, терзающей ее сердце. Туманные утра, хмурое небо, нависшее сероватым низким куполом, облака, бегущие над самой землей, — все отвечало ее болезненному душевному состоянию. Сердце ее уже не сжималось; оно еще не совсем увяло, но ее здоровая, цветущая натура словно окаменела от долгих страданий, страданий невыносимых, ибо они были бесцельны. Она страдала из-за себя и только за себя. Страдать так — не значит ли становиться эгоистом? Жюли сознавала это, и ее мучили горькие мысли. Она вела сама с собою чистосердечный разговор и чувствовала раздвоенность. В ней словно было две женщины: одна жила рассудком — другая чувством, одна страдала — другая больше не желала страдать.

Она мысленно переносилась к радостным дням детства, промелькнувшего так быстро, что она не успела и почувствовать, как была тогда счастлива; непорочные воспоминания теснились перед нею, будто подтверждая, как велико ее разочарование в браке, безупречном с точки зрения света и ужасном в действительности. К чему привело ее целомудрие, присущее молодости, к чему было сдерживать свои желания и жертвовать всем ради света? Все ее существо жаждало любви, ожидало любви, но она спрашивала себя, зачем ей теперь гармония движений, улыбка, изящество? И ей было неприятно чувствовать, что она свежа и привлекательна, — так неприятен звук, повторяемый бесцельно. Даже красота ее стала невыносима для нее, как что-то бесполезное. Ее ужасала мысль, что отныне ей не жить полной жизнью. Ведь ее внутреннее «я» потеряло способность упиваться впечатлениями, восхитительная новизна которых придает жизни столько радостного. Теперь почти все ощущения, едва успев возникнуть, будут исчезать, и многое из того, что раньше тронуло бы ее, станет ей безразличным. Вслед за детством человека следует «детство его сердца». Но возлюбленный унес в могилу ее второе детство. Желания ее были молоды, но она не

ощущала уже той нетронутой душевной молодости, что придает жизни ценность и очарование. В ней навсегда сохранится то сумрачное и недоверчивое отношение к жизни, которое отучит ее воспринимать все с непосредственностью, с увлечением, ибо ничто уже не вернет ей того счастья, на которое она надеялась, которое было так прекрасно в ее мечтах. Первые настоящие слезы затушили божественный огонь, озаряющий первые волнения сердца, она принуждена отныне вечно жалеть, что не быть ей тем, чем она могла бы стать. Уверенность в этом должна породить горькое отвращение, которое заставляет нас бежать от радости, когда она вновь предстает перед нами. Жюли рассуждала в ту пору о жизни, как рассуждает старец, сходя в могилу.

Хотя она и чувствовала себя молодой, но вереница дней, прожитых без радости, тяготила ей душу; они мучили, они старили ее раньше времени. Она взывала к свету, безнадежно вопрошая, что он дал ей взамен утраченной любви, которая помогала ей жить.

Она спрашивала себя, не случилось ли, что в погибшей любви ее, целомудренной и чистой, мысли ее бывали греховней, нежели поступки? Она старалась убедить себя, что она преступна,

чтобы этим нанести оскорбление свету и таким образом найти утешение в том, что не было у нее с человеком, которого она сейчас оплакивает, той чудесной близости, что соединяет души и облегчает женщине горе, внушив ей уверенность, что она изведала счастье и одарила им того, кого уже не стало, но кто живет в ее сердце. Она была недовольна собою, как актриса, которой не удалась роль; скорбь владела ее нервами, сердцем, рассудком. Если над святая святых существа ее было совершено надругательство, если в ней оскорблены были добрые чувства, которые порождают в женщине готовность к самопожертвованию, то и тщеславие ее было задето. К тому же, когда она раздумывала обо всех этих вопросах, о различных побудительных причинах существования, примеры которых находим мы в жизни общественной, нравственной и физической, ее душевные силы слабели среди самых противоречивых размышлений, и она уже ни в чем не могла разобраться. Порою, когда поднимался туман, она открывала окна, ни о чем не думая, вдыхала воздух, напоенный запахом влажной земли, и долго стояла неподвижно, с безумным видом, ибо горе оглушало ее, и она не воспринимала ни красоты природы, ни прелести раздумья.

Однажды около полудня, в то мгновение, когда солнце выглянуло из-за туч, в комнату без зова вошла горничная и доложила:

— Вот уже четвертый раз приходит навестить вас здешний священник; а нынче он до того решительно настаивает, что мы просто и не знаем, как ему ответить.

— Вероятно, ему надобны деньги для бедных; возьмите двадцать пять луидоров и передайте ему от моего имени.

— Сударыня, — сообщила горничная, возвратившись минуту спустя, — господин кюре не взял деньги, он желает переговорить с вами.

— Ну, пусть войдет! — ответила маркиза, недовольно пожав плечами, и это сулило священнику холодный прием; она, по-видимому, решила избавиться от его докучных наставлений, коротко и откровенно объяснившись с ним.

Маркиза лишилась матери в раннем детстве, и на воспитании ее, разумеется, сказалась та свобода нравов, которая в дни революции подорвала все религиозные устои во Франции. Благочестие — добродетель женская, и одни лишь женщины умеют внушить ее друг другу, а маркиза, дитя XVIII века, впитала философские взгляды своего отца. Она не соблюдала никаких религиозных

обрядов. Для нее священник был должностным лицом, и польза от него казалась ей сомнительной. При ее душевном состоянии голос религии мог только растравить ее сердечные раны; к тому же она не верила ни в сельских священников, ни в их просвещенность; она решила поставить кюре на место и мирно отделаться от него по способу богачей — благотворительностью. Священник вошел, и внешность его не опровергла предположения маркизы. Перед нею стоял толстый, невысокий человечек с большим животом, краснощекий, старый и морщинистый, который улыбался какой-то вымученной улыбкой; его лысина, начинавшаяся от крутого лба, от виска к виску изборожденного морщинами, занимала три четверти головы, и от этого лицо делалось меньше; редкие седые волосы окаймляли его затылок над самой шеей и поднимались к вискам. Однако у него была физиономия человека от природы веселого. Его мясистые губы, чуть вздернутый нос, двойной подбородок свидетельствовали о благодушном характере. Сначала маркизе бросилось в глаза только это; но при первых же словах, с которыми обратился к ней священник, ее поразил приятный тембр его голоса; она стала вглядываться в него внимательнее и

заметила, что его глаза смотрят из-под нависших седеющих бровей грустным взглядом, а его лицо в профиль было так выразительно, дышало такой величественной скорбью, что маркиза увидела в этом священнике человека.

— Маркиза, богатые люди принадлежат нам лишь тогда, когда их постигает горе; а горе замужней женщины, молодой, прекрасной, богатой, не потерявшей ни детей, ни родственников, объясняется и вызывается печалями, силу которых может смягчить лишь одна религия. Душа ваша в опасности, сударыня. Не буду говорить вам сейчас о жизни иной, которая ожидает нас за гробом. Нет, я не в исповедальне. Но не должен ли я осветить вам ваше будущее в обществе? Извините старику назойливость, ибо цель ее — ваше счастье.

— Счастье не для меня, сударь: скоро я буду, как вы говорите, принадлежать вам, и уже навеки.

— Нет, сударыня, вы не умрете от горя, хотя оно угнетает вас и чувствуется во всем вашем облике. Если бы вам суждено было умереть от него, вас не было бы в Сен-Ланже. Нас чаще губят не сами горести, а потерянные надежды. Я знавал еще более нестерпимые, еще более ужасные терзания души, которые, однако, не кончались смертью.

Маркиза недоверчиво покачала головой.

— Сударыня, я знаю человека, горе которого было так велико, что, если вы услышите о нем, ваши страдания покажутся вам легкими по сравнению с теми, что пережил он…

Долгое ли одиночество стало тяготить Жюли, захотелось ли ей найти отзывчивую душу и излить перед нею свое наболевшее сердце, но она с таким выжидательным видом посмотрела на священника, что тот сразу понял ее и сказал:

— Сударыня, человек этот был отцом, от многочисленной семьи у него осталось лишь трое сыновей. Сначала он потерял родителей, которых нежно любил, а вскоре дочь и жену. Он жил один в провинциальной глуши, в небольшом поместье, где был так счастлив прежде. Трое сыновей его служили в армии, и каждый из них имел чин за выслугу лет. Во время Ста дней старший перевелся в гвардию и стал полковником; средний был командиром артиллерийского батальона, а младший командовал драгунским эскадроном. Сударыня, все трое любили отца своего, так же как и он любил их. Если вы знаете, как беспечны молодые люди, как увлечены они своими страстями… до такой степени увлечены, что у них не хватает времени проявить привязанность к

семье, то вы поймете по одному лишь примеру, сколь велика была их любовь к несчастному одинокому старику, жившему лишь ими и для них; не проходило недели, чтобы он не получал письма от одного из сыновей. Правда, и он никогда не проявлял по отношению к ним ни слабости душевной, что подрывает уважение детей; ни несправедливой суровости, что их уязвляет; ни скупости и себялюбия, что их отдаляет. Нет, он был больше чем отец, он стал их братом, другом. И вот он едет проститься с ними в Париж, так как их отправляют в Бельгию; ему хочется удостовериться, хороши ли у них лошади, не нуждаются ли в чем-нибудь его сыновья. Он провожает их и возвращается домой. Начинается война, он получает письма из Флерюса, из Линьи, все идет хорошо. Но вот был дан бой под Ватерлоо, последствия его вам известны. Вся Франция оделась в траур. Все семьи в глубокой тревоге. А он, сами понимаете, сударыня, все ждал; он не знал ни отдыха, ни покоя; он читал газеты, ежедневно сам ходил на почту. Однажды под вечер ему сообщают, что явился слуга его сына, полковника. Старик видит, что слуга сидит верхом на лошади своего хозяина; спрашивать было не о чем: полковник был убит — его разорвало в бою

ядром. Поздно вечером приходит пешком слуга младшего сына: младший сын был убит на второй день сражения. Наконец в полночь приходит какой-то артиллерист и сообщает о смерти среднего сына, который был последним упованием отца в тот короткий вечер. Да, сударыня, все они погибли! — Священник помолчал и, преодолев волнение, тихо добавил: — А отец жив, сударыня! Он понял, что раз Господь Бог оставляет его на земле, значит, долг его страдать, и он страдает; но он устремился в лоно церкви. Кем же он стал?

Маркиза подняла глаза, взглянула в лицо старика, освещенное кроткой печалью, и услышала слова, тронувшие ее до слез:

— Священником, сударыня; он был посвящен в священники слезами, прежде чем посвятили его перед алтарем.

В комнате воцарилось молчание. Маркиза и кюре смотрели в окно на мглистый горизонт, словно могли там увидеть тех, кого уже не было среди живых.

— Не городским священником, а простым сельским, — проговорил старик.

— В Сен-Ланже? — спросила Жюли, отирая слезы.

— Да, сударыня.

Никогда еще скорбь не казалась Жюли такой величественной; слова «да, сударыня» запали ей в сердце и наполнили его безысходной тоской. Этот голос, тихо звучавший в ее ушах, переворачивал всю душу. Да, то поистине был голос самого несчастья, голос низкий и строгий, будто струивший какие-то пронизывающие токи.

— Сударь, — проговорила почти с благоговением маркиза, — а ежели я не умру, что станет со мною?

— Ведь у вас есть ребенок, сударыня.

— Есть, — сказала она холодно.

Священник бросил на нее взгляд, подобный тому, какой кидает врач на опасно больного, и решил приложить все усилия, чтобы отстоять ее у духа зла, уже простершего над нею свою руку.

— Вы сами убедились, сударыня, что мы должны жить с нашими печалями и что одна лишь религия утоляет их. Позвольте мне прийти к вам еще раз. Я хочу, чтобы до вас дошел голос человека, который сочувствует всякому горю и в котором, не правда ли, нет ничего страшного?

— Хорошо, сударь, приходите. Благодарю вас за то, что вы подумали обо мне.

— Итак, сударыня, до скорого свидания.

Посещение это, можно сказать, смягчило душу

маркизы, нравственным силам которой наступал предел в горе и в одиночестве. Старик словно влил в ее сердце целительный бальзам; действие его речей, полных веры, было спасительно. Кроме того, она испытала ту радость, которую чувствует узник, когда, познав всю глубину одиночества и тяжесть цепей, он вдруг слышит, что в стену стучится сосед, и, отвечая ему стуком, делится с ним мыслями. Появился нечаянный поверенный. Но скоро она вновь впала в горькое раздумье и решила, как узник, что сотоварищ по несчастью не облегчит ни цепей ее, ни будущего. Священнику не хотелось при первой же встрече отпугнуть Жюли, поглощенную своей чисто эгоистической печалью; он надеялся, что в следующий раз ему удастся помочь ей проникнуться религиозным чувством. Спустя день он пришел вновь, и прием, оказанный ему маркизой, доказал, что посещение его было желательно.

— Итак, маркиза, — начал старик, — приходилось ли вам задумываться о том, как бесчисленны человеческие страдания? Обращали ли вы взор свой к небесам? Видели ли вы там все эти необъятные миры, которые, умаляя значение наше, подавляя нашу суетность, тем самым уменьшают и наши горести?

— Нет, сударь, — ответила она. — Законы общества гнетут мою душу и терзают ее слишком мучительно, чтобы я могла воспарить на небеса. Но, пожалуй, не так жестоки законы, как обычаи, принятые в свете. О, этот свет!

— Наш долг, сударыня, повиноваться и тем и другим: закон — это слово, а обычаи — действия общества.

— Повиноваться обществу? — возразила маркиза, не скрывая своего отвращения. — Ах, сударь, все наши беды проистекают оттуда. Бог не создал ни одного закона, который вел бы к несчастью; люди собрались и исказили его творения. Мы, женщины, больше обижены цивилизацией, нежели природой. Природа подвергает нас физическим страданиям, которые вы не облегчили, цивилизация же развила в нас чувство, которое вы все время обманываете. Природа уничтожает слабых, и вы приговариваете их к жизни, иначе говоря, к вечному несчастью. Только мы, женщины, на себе испытываем, как тягостен брак — установление, на котором основано в наше время общество: мужчины свободны, мы же — рабыни долга. Мы должны отдавать вам всю свою жизнь, вы же нам отдаете лишь считаные минуты. И, наконец, мужчина выбирает, а мы

слепо подчиняемся. О сударь, вам-то я все могу сказать. Знаете ли, мне представляется, что брак в наши дни — это узаконенная проституция. Вот он, источник моих мучений. Но лишь я одна из всех этих обездоленных, скованных роковыми узами, не смею жаловаться на свою судьбу! Я виновница своего несчастья, я сама стремилась к этому браку.

Она умолкла и залилась слезами.

— Среди страшных невзгод, среди океана скорби, — продолжала она, — я обрела островок и ступила на него; там я могла страдать на приволье; все унес ураган. И вот я снова одинока, нет у меня опоры, нет силы бороться с бурей.

— У нас всегда есть силы, когда с нами Бог, — сказал священник. — И если вам в нашей земной юдоли некого любить, то разве у вас нет никаких обязанностей?

— Все только обязанности! — воскликнула она с каким-то раздражением. — Но где найду я чувства, которые помогают людям выполнить их обязанности? Сударь, ничто не делается из ничего, и ничто не делается для ничего — вот один из самых правильных законов природы, как физических, так и нравственных. Вы хотите, чтобы деревья давали листву без соков, которые

ее питают? Душу тоже питают жизненные соки! Мой источник жизни иссяк.

— Я не буду вам говорить о религиозном чувстве, порождающем смирение, — произнес священник, — но, сударыня, разве материнство не…

— Остановитесь, сударь! — воскликнула маркиза. — С вами я буду откровенна. Увы! Отныне мне ни с кем нельзя быть откровенной, я вынуждена лгать; свет вечно требует притворства и грозит позором, если мы не подчинимся условностям. Существует два материнства, сударь. Раньше я и не подозревала этого. Теперь я это познала. Я мать лишь наполовину, и мне лучше было бы совсем не быть ею. Елена не от *него!* О, не содрогайтесь! Сен-Ланж — бездна, в которой потонуло немало ложных чувств, откуда вырвалось мрачное пламя, куда рухнули хрупкие сооружения, созданные противоестественными законами. У меня есть ребенок — этого достаточно; я мать — так хочет закон. Но у вас, сударь, чуткая и добрая душа, вы-то, быть может, поймете стенания бедной женщины, не допустившей, чтобы в ее сердце проникли искусственные чувства. Бог будет мне судьей, но я не думаю, что грешу против его законов, поддаваясь чувству любви,

которое заложено им в моей душе, и вот к чему я пришла; ребенок сочетает в себе, сударь, образы двух существ, является плодом двух чувств, соединившихся свободно. Если, вы не привязаны к нему всем существом своим, всеми фибрами своего сердца, если не напоминает он радостей любви, те места, то время, когда два существа эти были счастливы, и слова их, полные душевного единения, и их сладостные мечтания, тогда ребенок этот — создание несовершенное. Да, ребенок должен стать для них восхитительной миниатюрой, в которой отражается поэтическая летопись их сокровенной жизни, стать для них источником вдохновения, воплотить в себе все их прошедшее, все их будущее.

Бедная маленькая Елена — дочь моего мужа, дитя долга и случая; она пробуждает во мне лишь инстинкт — непреодолимый инстинкт, заставляющий нас защищать рожденное нами существо, плоть от плоти нашей. Я безупречна с точки зрения общества.

Ведь я пожертвовала ради нее своею жизнью и своим счастьем. Ее слезы трогают меня до глубины души; если бы она стала тонуть, я бы бросилась спасать ее. Но ей нет места в моем сердце. О! любовь породила во мне мечту о всемогущей и

цельной материнской любви, в сонном забытьи я баюкала ребенка, рожденного мечтою еще до его зачатия, словом, тот нежный цветок, который расцветает в душе прежде, чем появляется на свет. Я для Елены то, чем в мире животном всякая мать должна быть для своего потомства. Когда Елена не будет более нуждаться во мне, все это кончится: исчезнет причина, исчезнут и следствия. Женщина наделена замечательным даром всю жизнь окружать своего ребенка материнской любовью, и не следует ли это божественное постоянство чувств приписать тому свету, что озарял его духовное зачатие? Если мать не вкладывает душу свою в новорожденного, то, значит, материнская любовь недолго будет владеть ее сердцем, как недолго владеет она животными. Я чувствую, это истина: дочка моя растет, а сердце мое все больше и больше отчуждается от нее. Жертвы, которые я принесла ради дочери, уже отторгнули меня от нее, а вот для другого ребенка нежность моя, я знаю это, была бы безгранична; ради него ничто не было бы жертвой, все приносило бы мне блаженство. Рассудок мой, благочестие — все бессильно против этих чувств. Разве женщина, которая не чувствует себя ни матерью, ни супругой и которая, себе на горе,

постигла, как бесконечно прекрасна любовь, как беспредельно радостно материнство, виновна в том, что хочет умереть? Что станется с нею? Я-то вам скажу, что испытывает она! По сто раз в день, по сто раз в ночь голову, сердце, тело мое пронизывает дрожь, стоит лишь воспоминанию, побороть которое нет сил, воскресить передо мною картины счастливого прошлого, быть может, даже более счастливого, нежели было оно на самом деле. Видения эти терзают душу, притупляют все мои чувства, и я повторяю про себя: «Какая была бы жизнь у меня, если бы!..»

Она закрыла лицо руками и зарыдала.

— Вот что таится в моем сердце! — продолжала она. — Ради *его* ребенка я пошла бы на самые страшные муки! Господь, умирая, принял на себя все грехи земные, и он простит мне эту мысль, которая сводит меня с ума; но свет, я знаю, неумолим, для него мои слова — богохульство: я поношу все его законы. Ах, как бы я хотела вступить в единоборство со светским обществом, чтобы обновить законы, обычаи, чтобы разрушить их! Ведь они-то и нанесли удар моим помыслам, всем струнам души моей, всем чувствам, всем моим желаниям, всем надеждам в будущем, в настоящем, в прошедшем! Мрачны дни мои, мысль моя

— меч, сердце мое — рана, ребенок мой — лишь отрицание. Да, когда Елена говорит со мною, мне хочется, чтобы у нее был иной голос; когда она смотрит на меня, мне хочется, чтобы у нее были другие глаза. Все в ней напоминает мне о том, что должно было быть и чего нет. Мне тяжело смотреть на нее!

Я ей улыбаюсь, чтобы возместить чувства, которые краду у нее. Как я страдаю! О сударь, мои страдания так мучительны, что я не в силах жить. И я буду слыть женщиной добродетельной! И я не совершила никаких проступков! И меня будут уважать! Я поборола невольную любовь, которой не имела права уступать; я сохранила супружескую верность, но уберегла ли я свое сердце? Нет, — продолжала она, поднося руку к груди, — оно всегда принадлежало лишь одному существу. И моя дочь чувствует это безошибочно. Во взгляде, голосе, в движении матери есть такая сила, которая воздействует на душу ребенка, а когда я смотрю на мою бедную девочку, когда я говорю с нею или когда беру ее на руки, она не ощущает ни ласки в моих объятиях, ни нежности в голосе, ни теплоты в моем взгляде. Она укоризненно смотрит на меня, и я не могу этого вынести. Порою я дрожу при мысли, что предстану перед

нею, как перед судьей, и она вынесет мне приговор, даже не выслушав меня. Не допусти, Господи, ненависти между нами!

Лучше, Боже великий, пошли мне смерть, помоги мне уснуть вечным сном в Сен-Ланже! Я хочу перенестись в тот мир, где я встречу свою вторую душу, где я стану настоящей матерью. О, извините, сударь, я теряю рассудок. Слова эти переполняли меня, я излила свою душу. Ах, вы тоже плачете! Вы не будете презирать меня!.. Елена, Елена, дочка! Поди сюда! — крикнула она с каким-то отчаянием, услышав шаги дочери, возвращавшейся с прогулки.

Девочка вбежала в комнату с веселым криком и смехом; она принесла бабочку, которую сама поймала, но, увидев, что лицо матери залито слезами, она затихла и подставила лоб для поцелуя.

— Она вырастет красавицей, — заметил священник.

— Она вся в отца, — ответила маркиза, с жаром целуя дочь, словно отдавая долг или стремясь заглушить угрызения совести.

— Как у вас горят щеки, маменька!

— Ступай, оставь нас, мой ангел, — ответила маркиза.

Девочка ушла без сожаления, даже не взглянув

на мать, довольная, что можно убежать подальше от унылого ее лица, и уже понимая, что есть нечто враждебное ей в чувстве, отразившемся сейчас на нем. Улыбка — это достояние, язык, выражение материнской любви. А маркиза не могла улыбаться. Она покраснела, взглянув на священника: она надеялась проявить материнские чувства, но ни она, ни ее ребенок не сумели солгать! В самом деле, искренние материнские поцелуи напоены божественным нектаром, придающим им нечто задушевное, какую-то нежную теплоту, которой полнится сердце. Поцелуи же, которые не умиляют душу, сухи и холодны. Священник почувствовал, как велико это различие; он мог измерить пропасть, которая зияет между материнством по плоти и материнством по сердцу. Поэтому, бросив пытливый взгляд на маркизу, он произнес:

— Вы правы, сударыня! Для вас было бы лучше, если бы вы умерли…

— Ах, я вижу, вы понимаете, как я страдаю, — ответила она, — раз вы, христианин и священник, угадали, на какой роковой шаг все это толкает меня, и одобрили его. Да, я хотела покончить с собою, но мне не хватило мужества, и я не выполнила свое намерение. Тело мое было слабо, когда

душа была сильна, а когда моя рука больше не дрожала, душа начинала колебаться. Тайна этой борьбы и этих чередований для меня непостижима. Я, очевидно, слабая женщина, у меня нет упорства и воли, я сильна лишь своею любовью. Я презираю себя! По вечерам, когда слуги ложились спать, я храбро шла к пруду; но стоило мне подойти к берегу, как мою жалкую плоть охватывал страх смерти. Я исповедуюсь вам в своих слабостях. Когда я снова ложилась в постель, мне становилось стыдно, я опять делалась храброй. Вот в такую-то минуту я и приняла большую дозу опиума, но только заболела, а не умерла. Я думала, что осушила весь пузырек, а оказывается, не выпила и половины.

— Вы погибли, сударыня, — осторожно произнес священник, и голос его задрожал от слез. — Вы вернетесь в свет и будете лгать свету, вы станете искать и найдете то, что считаете воздаянием за свои муки, но придет день, и вы понесете кару за ваши утехи…

— Да ужели я отдам, — воскликнула она, — какому-нибудь соблазнителю, которому вздумается разыграть влюбленного, последние, самые ценные сокровища моего сердца, ужели испорчу свою жизнь ради мига сомнительного счастья?

Нет, душу мою испепелит чистый огонь. Мужчины наделены инстинктами, свойственными их полу, и такого, кто обладает душою, отвечающей требованиям нашей натуры, кто затронет все струны нашего сердца, звучащие сладостной гармонией лишь под наплывом чувств, — такого человека не встретить дважды в жизни. Я знаю, мое будущее ужасно: женщина без любви — ничто, красота без наслаждения — ничто; но разве свет не осудил бы моего счастья, если б оно и пришло ко мне! Мой долг перед дочерью — быть достойной матерью. Ах, я в железных тисках, из них мне не вырваться, не покрыв себя позором! Семейные обязанности, которые не будут ничем вознаграждены, мне скоро прискучат, я стану проклинать жизнь; зато у моей дочки будет отменное подобие матери. Я одарю ее сокровищами добродетели взамен сокровищ любви, которые я отняла у нее. Я даже не хочу жить во имя того, чтобы испытать радость, которую дает матерям счастье детей. В счастье я не верю. Какая судьба уготована Елене? Разумеется, такая же, как мне. Что может сделать мать, чтобы человек, за которого она отдает свою дочь, стал бы ей супругом по сердцу? Вы клеймите прозрением тех несчастных женщин, которые продают себя за несколько

экю первому встречному: голод и нужда оправдывают эти мимолетные союзы. Общество же допускает и одобряет еще более ужасный для невинной девушки необдуманный союз с мужчиною, с которым она не знакома и трех месяцев; она продана на всю жизнь. Правда, цена дается немалая! Если бы взамен иного вознаграждения за все ее муки вы хотя бы уважали ее; но нет, свет злословит о самых добродетельных женщинах! Такова судьба наша; у нас два пути: один — проституция явная и позор; другой — тайная и горе. А несчастные бесприданницы! Они сходят с ума, они умирают; и никто их не жалеет! Красота, добродетель не ценятся на человеческом рынке, и вы называете обществом это логово себялюбивых страстей! Лишите женщин прав на наследство, тогда вы будете по крайней мере следовать законам природы, выбирая спутницу жизни по влечению сердца.

— Сударыня, слова ваши доказывают мне, что вам чужды и семейный дух, и дух религиозный. Поэтому-то вы, не колеблясь, сделаете выбор между эгоизмом общества, уязвляющим вас, и личным эгоизмом, который будет звать вас к наслаждениям…

— Да существует ли, сударь, семья! Я отрицаю

семью в том обществе, которое после смерти отца или матери производит раздел имущества и говорит каждому: иди своей дорогой. Семья — это объединение временное и случайное, которое сразу же расторгается смертью. Законы наши разрушили старинные роды, наследства, постоянство примеров и традиций. Вокруг я вижу одни лишь обломки.

— Сударыня, вы обратитесь к Господу Богу лишь тогда, когда кара его постигнет вас, и я желаю вам, чтобы у вас было время смириться. Вы ищете утешения, глядя на землю, вместо того чтобы возвести взор к небесам. Лжемудрствование и себялюбивые стремления завладели вашим сердцем; вы глухи к голосу религии, как все дети нашего безбожного века. Мирские радости порождают одни лишь страдания. Печали ваши будут просто-напросто видоизменяться, вот и все.

— Я опровергну ваше пророчество, — проговорила она с горькой усмешкой, — я останусь верна тому, кто умер ради меня.

— Скорбь живет вечно лишь в набожных душах, — ответил он.

И священник почтительно опустил глаза, чтобы скрыть сомнение, которое могло отразиться

в его взгляде. Жалобы маркизы опечалили его. Он распознавал человеческое «я» во всех его проявлениях и не надеялся тронуть это сердце, ибо в горе оно зачерствело, а не смягчилось. Зерно божественного сеятеля не могло дать всходов, громкие выкрики эгоизма заглушали проникновенный голос. Однако священник проявил апостольское упорство и часто навещал Жюли; им руководила надежда обратить к Богу эту благородную и гордую женщину; но он разуверился в этом, заметив, что маркизе приятны их беседы лишь потому, что она может говорить с ним о том, кого уже нет в живых. Он решил не унижать свой сан, снисходительно выслушивая рассказ о ее любви; беседы на эту тему прекратились и постепенно перешли на общие места.

Настала весна. Маркиза д'Эглемон, томясь тоской, решила развлечься и от безделья занялась своим поместьем; скуки ради она распорядилась, чтобы произвели кое-какие работы. В октябре она покинула замок, где посвежела и похорошела в своей праздной скорби, которая сначала была неудержима, словно полет диска, брошенного могучим броском, затем перешла в тихую печаль, — так все тише и тише делаются колебания летящего диска, и он, наконец, останавливается.

Печаль — это вереница таких же колеблющихся движений души: вначале они граничат с отчаянием, а к концу — с удовольствием; в молодости она — что утренние сумерки, в старости — что вечерние.

Когда маркиза проезжала по деревне, ей встретился священник, возвращавшийся домой из церкви; отвечая на его поклон, она опустила глаза и отвернулась, чтобы не видеть его. Священник был прав в своем отношении к этой злосчастной Артемиде Эфесской.

III
В тридцать лет

Молодой человек, подававший большие надежды, представитель одного из тех знатных родов, отмеченных историей, которые даже вопреки законам всегда будут тесно связаны со славой Франции, был на балу у г-жи Фирмиани. Дама эта вручила ему рекомендательные письма к двум-трем своим приятельницам, жившим в Неаполе. Шарль де Ванденес — так звался молодой человек — хотел поблагодарить ее перед отъездом. Ванденес блистательно выполнил несколько дипломатических поручений, его недавно назначили помощником одного из наших полномочных министров на конгрессе в Лайбахе, и он хотел воспользоваться путешествием, чтобы побывать в Италии. Бал этот для него был, так сказать, прощанием с парижскими развлечениями, со стремительной столичной жизнью, с вихрем идей и увеселений, со всем, что так часто осуждается, но чему так приятно предаваться. Шарль де Ванденес привык за три года приветствовать европейские столицы и поки-

дать их по воле своей дипломатической карьеры, и, расставаясь с Парижем, он почти ни о чем не сожалел. Женщины уже не производили на него впечатления — оттого ли, что, по его мнению, истинная страсть должна занять слишком большое место в жизни политического деятеля, или оттого, что волокитство — это времяпрепровождение пошляков — казалось ему слишком пустым занятием для человека с сильной душою. Все мы притязаем на душевную силу. Ни один француз, пусть самый заурядный, не согласится прослыть всего лишь остроумцем. Итак, Шарль, несмотря на молодость — ему недавно минуло тридцать лет, — приучил себя к философскому взгляду на вещи и жил рассудком, заранее обдумывая последствия своих поступков и пути к достижению цели, тогда как люди его возраста обычно живут чувствами, удовольствиями и иллюзиями.

Он прятал пылкость и восторженность, столь свойственные молодости, в тайнах своей души, благородной от рождения. Шарль Ванденес старался превратиться в человека бесстрастного и расчетливого и все свои способности употребить на то, чтобы довести до совершенства свои манеры, тонкость поведения, искусство обольщать; это поистине задача честолюбца; такую жалкую

роль играют люди, желающие добиться того, что ныне называется *высоким положением.* Он в последний раз окидывал взглядом гостиные, где танцы были в разгаре. Ему, без сомнения, хотелось, покинув бал, унести с собою память о нем — так в театре зритель не уйдет из ложи, не посмотрев заключительной сцены оперы. К тому же г-н де Ванденес по вполне понятной прихоти изучал смеющиеся лица и великолепное парижское празднество, на котором царило чисто французское оживление, мысленно сопоставляя все это с новыми лицами, с новыми живописными картинами, ожидавшими его в Неаполе, где он предполагал провести несколько дней, перед тем как отправиться к месту назначения. Он как будто сравнивал Францию, такую изменчивую и уже изученную им, со страною, обычаи и пейзажи которой были известны ему лишь по противоречивым рассказам или по книгам, в большинстве случаев прескверно написанным. Кое-какие мысли, довольно поэтичные, хотя и ставшие теперь весьма избитыми, пришли ему в голову и ответили, быть может безотчетно, сокровенным желаниям его сердца, скорее требовательного, чем пресыщенного, скорее праздного, чем увядшего.

«Вот они, — размышлял он, — самые изысканные, самые богатые, самые знатные парижанки. Здесь нынешние знаменитости, известнейшие ораторы, представители известнейших аристократических родов, известнейшие литераторы; тут и художники, тут и власть имущие. А меж тем вокруг меня одни лишь мелкие интриги, мертворожденные страсти, улыбки, которые ничего не выражают, беспричинное презрение, потухшие взгляды и блеск остроумия; но остроумие это растрачивается впустую. Все эти белолицые и румяные красавицы ищут развлечений, а не радости. Нет искренности в чувствах. Если вам нравится только мишура, украшения из страусовых перьев, легкий флёр, прелестные туалеты, изящные дамы, если вы поверхностно скользите по жизни, то это ваш мир. Удовольствуйтесь пустой болтовней, обворожительными улыбками и чувства в сердцах не ищите. А мне приелись все эти пошлые интриги, которые увенчиваются бракосочетанием, должностью суперпрефекта или казначея, а ежели дело дойдет до любви — тайными сделками, до такой степени свет стыдится даже подобия страсти. Ни на одном из этих весьма выразительных лиц не увидишь ничего, что возвещало бы душу,

способную всецело предаться идее или терзаться угрызениями совести. И сожаление, и несчастье стыдливо прикрываются здесь шутками. Не вижу я ни одной женщины, которую мне хотелось бы покорить, которая может увлечь в бездну. Да и найдешь ли сильную страсть в Париже? Кинжал тут диковинка, и висит он в красивых ножнах, на золоченом гвозде. Женщины, помыслы, чувства людей — все здесь заурядно. Страстей больше не существует, ибо исчезло своеобразие. Чины, ум, состояние — все сравнялось, и все мы вырядились в черные фраки, словно облеклись в траур по умершей Франции. Мы не любим тех, кто подобен нам. Между любовником и любовницей должно существовать несходство, которое надобно сгладить, расстояние, которое надобно преодолеть. Эта пленительная сторона любви исчезла в тысяча семьсот восемьдесят девятом году. Пресыщенность, скучные наши нравы порождены политическим строем. В Италии, по крайней мере, все самобытно. Женщины там все еще хищные создания, опасные сирены, они безрассудны и руководствуются не логикой, а вкусами, вожделениями; их надо опасаться, как опасаются тигров…»

Подошла г-жа Фирмиани и прервала этот моно-

лог, а с ним и тысячу противоречивых мыслей, недоконченных, смутных, которых не передать. Достоинство мечтаний именно в их расплывчатости; они своего рода умственный туман.

— Я хочу, — сказала она, беря его под руку, — представить вас особе, которая много о вас слышала и жаждет познакомиться с вами.

Она провела его в соседнюю гостиную и, улыбаясь, указала жестом и взглядом истинной парижанки на даму, сидевшую у камина.

— Кто это? — с живостью спросил граф де Ванденес.

— Женщина, о которой вы, разумеется, не раз говорили, хваля ее или злословя о ней, женщина, живущая в уединении, женщина-загадка.

— Будьте великодушны, умоляю вас, скажите, кто она?

— Маркиза д'Эглемон.

— Я поучусь у нее: она сделала из своего весьма недалекого мужа — пэра Франции, из ничтожного человека — политическую фигуру. Но скажите, в самом ли деле из-за нее умер лорд Гранвиль, как уверяют некоторые?

— Возможно. Была ли, нет ли трагедия, но бедняжка очень изменилась. Она еще не выезжала в свет. Хранить четыре года постоянство в Париже

что-нибудь да значит! Здесь она только потому, что…

Госпожа Фирмиани умолкла; потом добавила с лукавым видом:

— Я забыла, что говорить об этом нельзя. Ступайте же, побеседуйте с ней сами.

Шарль с минуту постоял неподвижно, прислонившись к косяку двери и не спуская внимательного взгляда с женщины, ставшей знаменитостью, хотя никто и не мог бы объяснить, в чем же причина ее славы. В свете встречаешь немало таких презабавных несообразностей. В этом отношении репутация д'Эглемон не отличалась от установившейся репутации иных людей, вечно занятых никому не ведомым делом: статистиков, что славятся своими глубокими познаниями, ибо все верят в их вычисления, которые они, впрочем, предпочитают не предавать гласности; политических деятелей, что носятся со своей единственной статьей, напечатанной в газете; писателей и художников, чьи творения никогда не увидят света; ученых в глазах неучей — так Сганарель слыл латинистом среди тех, кто не знал латыни; людей, которым все приписывают талант в какой-нибудь определенной области — то ли способность стать во главе целого ху-

дожественного направления, то ли выполнить весьма важное, ответственное дело. Многозначительное слово «специалист» словно нарочно создано для такой вот разновидности безмозглых моллюсков от политики и литературы. Шарль не мог отвести глаз от маркизы д'Эглемон и был недоволен этим — он досадовал, что женщина так сильно затронула его любопытство; впрочем, весь ее облик опровергал те размышления, которым только что предавался молодой дипломат, глядя на танцующих.

Маркиза — в ту пору ей было тридцать лет — была хороша собой, хотя хрупка и уж очень изнеженна. Удивительным обаянием дышало ее лицо, спокойствие которого обнаруживало редкостную глубину души. Ее горящий, но словно затуманенный какою-то неотвязною думою взгляд говорил о кипучей внутренней жизни и полнейшей покорности судьбе. Веки ее были почти все время смиренно опущены и поднимались редко. Если она и бросала взгляды вокруг, то они были печальны, и вы сказали бы, что она сберегает огонь глаз для каких-то своих сокровенных созерцаний. Потому-то каждый мужчина, наделенный недюжинным умом, испытывал необъяснимое влечение к этой кроткой

и молчаливой женщине. Если рассудок и пытался разгадать, отчего она постоянно оказывает внутренне противодействие настоящему во имя прошедшего, обществу во имя уединения, то душа старалась проникнуть в тайны этого сердца, видимо, гордого своими страданиями. Ни одна черта ее не противоречила тем мыслям, которые она внушала с первого взгляда. Лицо ее, как у многих женщин с очень длинными волосами, было бледно, просто белоснежно. У нее была необыкновенно тонкая кожа, а это почти безошибочный признак душевной чувствительности, что подтверждалось всем ее обликом, той изумительной законченностью черт, которой китайские художники наделяют свои причудливые творения. Ее шея, пожалуй, была слишком длинна, зато нет ничего грациознее такой шеи, в ее движениях есть отдаленное сходство с извивами змеи, чарующими глаз. Если бы не существовало ни одного признака из того множества признаков, по которым наблюдатель определяет самые скрытые характеры, то, чтобы судить о какой-нибудь женщине, было бы достаточно внимательно изучить повороты ее головы, изгибы шеи, такие разнообразные, такие выразительные. Наряд г-жи д’Эглемон сочетался с ее душевным состоя-

нием. Густые волосы, заплетенные в косы, были уложены вокруг головы высокою короной, и в них не было ни единой драгоценности, словно она навеки простилась с роскошью. Ее нельзя было заподозрить в мелких уловках кокетства, которые так портят иных женщин. Однако, как ни был прост ее корсаж, он не совсем скрывал пленительные линии ее стана. Вся прелесть ее вечернего платья заключалась в удивительно изящном покрое, и если позволено искать «идею» в том, как ниспадает ткань, то можно сказать, что множество строгих складок ее платья придавало ей особое благородство. Впрочем, и ей, как всем женщинам, была присуща извечная слабость — тщательная забота о красе рук и ног; но если она и выставляла их напоказ с некоторым удовольствием, то даже самой коварной сопернице было трудно назвать ее жесты неестественными, так, казалось, были они безыскусны или усвоены с детских лет. Грациозная небрежность искупала этот намек на кокетство. Следует отметить всю совокупность мелочей, все эти черточки, делающие женщину некрасивой или хорошенькой, привлекательной или отталкивающей, в особенности если в них чувствуется душа, которая всему придает гармонию, как это было у г-жи д'Эгле-

мон. Ее манеры удивительно хорошо сочетались со всем складом ее лица, с ее осанкой. Только в известном возрасте иные утонченные женщины умеют сделать красноречивым свой облик. Но что же открывает тридцатилетней женщине секрет выразительной внешности: радость или печаль, счастье или несчастье? Это живая загадка, и всякий истолкует ее так, как подскажут ему желания, надежды, убеждения. Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура, и то, как соединяла она кончики пальцев, словно играя, и линия ее шеи, и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан, изящный и словно надломленный, свободная и небрежная поза, усталые движения — все говорило о том, что эту женщину ничто в жизни не радует, что ей неведомо блаженство любви, но что она мечтала о нем и что она сгибается под бременем воспоминаний, что женщина эта давным-давно разуверилась в будущем или в себе самой, что это женщина праздная, что жизнь ее ничем не заполнена. Шарль де Ванденес залюбовался этой обворожительной картиной, «сделанной», как он решил, искуснее, нежели «сделали бы ее» женщины заурядные. Он знал д'Эглемона. При первом же взгляде на эту женщину, которую он раньше

не видел, молодой дипломат понял, как велико несоответствие, диспропорция — употребим такое сухое слово — между супругами, что вряд ли маркиза любит мужа. Однако г-жа д'Эглемон вела себя безупречно, и добродетель придавала еще больше ценности тем тайнам, которые, как все предполагали, она хранила в душе. Наконец Ванденес очнулся от изумления и стал придумывать, как бы вступить в разговор с г-жой д'Эглемон, решив — так подсказала ему дипломатическая, весьма обычная хитрость — привести ее в замешательство дерзостью, чтобы посмотреть, как она отнесется к его нелепому поведению.

— Сударыня, — начал он, усаживаясь подле нее, — я счастлив, ибо одна особа проговорилась, что я отмечен вами. Не знаю, право, чем я заслужил это! Весьма признателен вам, мне еще никогда не случалось быть предметом такого благоволения. Вы виновница одного из моих новых недостатков: отныне я уже не буду скромен…

— И напрасно, сударь, — смеясь, подхватила Жюли, — предоставьте самомнение тем, кому больше нечем отличиться.

Так между маркизой д'Эглемон и молодым человеком завязалась беседа, и, как водится, они мгновенно перебрали множество всяче-

ских вопросов: живопись, музыку, литературу, политику, людей, события и разные разности. Затем разговор незаметно перешел к обычной, неизменной теме болтовни французов да и чужеземцев — к любви, чувствам, женщинам.

— Мы — рабыни.

— Вы — королевы.

Более или менее остроумные фразы, произнесенные Шарлем и маркизой, сводились к весьма простой формуле всех нынешних и будущих разговоров по этому поводу. Ведь две эти фразы всегда означают: «Полюбите меня. — Я полюблю вас».

— Сударыня, — пылко воскликнул Шарль де Ванденес, — вы заставляете меня несказанно сожалеть об отъезде из Парижа! В Италии, конечно, мне не доведется проводить время за такой приятной беседой.

— Быть может, вы там найдете счастье, сударь, а оно гораздо ценнее всех блестящих мыслей, истинных или ложных, которые в таком изобилии высказываются каждый вечер в Париже.

Прежде чем откланяться, Шарль испросил у маркизы позволения заехать к ней с прощальным визитом. Он почувствовал себя счастливейшим из смертных оттого, что так искренне прозвучала

его просьба, и вечером, перед сном, и весь следующий день не мог отделаться от воспоминаний об этой женщине. То он спрашивал себя, почему она отметила его; зачем она хочет вновь его увидеть; и его соображения на этот счет были неисчерпаемы. То ему представлялось, что он разгадал причины ее любопытства, и тогда он упивался надеждой или впадал в уныние, в зависимости от того, как истолковывал учтивое приглашение, такое обычное в Париже. То, казалось ему, этим было все сказано, то — ничего. Наконец, он решил побороть свое влечение к г-же д'Эглемон и все же поехал к ней.

Существуют мысли, которым мы подчиняемся, не сознавая их: они родятся безотчетно. Замечание это может показаться скорее парадоксальным, нежели справедливым, но человек правдивый найдет в своей жизни тысячу случаев, подтверждающих его. Отправляясь к маркизе, Шарль повиновался одному из тех смутных побуждений, которые получают дальнейшее развитие в зависимости от нашего опыта и побед нашего разума. В женщине тридцати лет есть что-то неотразимо привлекательное для человека молодого; нет ничего естественнее, нет ничего прочнее, нет ничего предусмотрительнее, чем

глубокая привязанность, возникающая между женщиной типа маркизы д'Эглемон и мужчиной типа Ванденеса, — сколько таких примеров находим мы в свете! В самом деле, юная девушка полна иллюзий, она так неопытна, и в ее любви большую роль играет голос инстинкта. Поэтому победа над ней вряд ли польстит молодому дипломату — женщины же идут на огромные жертвы обдуманно. Первая увлечена любопытством, соблазнами, чуждыми любви, другая сознательно подчиняется чувству. Одна поддается, другая выбирает. Выбор этот сам по себе является чем-то безмерно лестным. Женщина, вооруженная знанием жизни, за которое она почти всегда дорого расплачивается несчастьями, искушенная опытом, отдаваясь, как будто отдает большее, нежели самое себя; девушка, неопытная и доверчивая, ничего не изведав, не может ничего и сравнить, ничего оценить; она принимает любовь и изучает ее. Женщина наставляет нас, советует нам, когда мы по молодости лет еще не прочь, чтобы нами руководили, когда нам даже приятно подчиняться; девушка хочет все познать и бывает наивна, а женщина была бы нежна. Первая сулит вам лишь однажды одержанную победу, с другой вы принуждены вечно вести борьбу. Первая плачет

и утешается, вторая наслаждается и испытывает муки совести. Если девушка стала любовницей, значит, она чересчур испорчена, и тогда ее с омерзением бросают; у женщины же тысяча способов сохранить и власть свою и достоинство. Одна слишком покорна, и постоянство ее наводит на вас скуку; другая теряет слишком много, чтобы не требовать от любви всех ее превращений. Одна только себя покрывает позором, другая разрушает ради вас семью. Девичьи чары однообразны, и девушка воображает, что все будет сказано, лишь только она сбросит одежды, а у женщины бесчисленное множество чар, и она таит их за тысячью покрывал; словом, любовь ее льстит нашему самолюбию во всех его проявлениях, а наивная девушка затрагивает лишь одну сторону нашего самолюбия. Тридцатилетнюю женщину жестоко терзают нерешительность, страх, опасения, тревоги, бури, которые не свойственны влюбленной девушке. Женщина, вступив в этот возраст, требует, чтобы мужчина питал к ней уважение, возмещая этим то, чем она пожертвовала ради него; она живет только им, она печется о его будущем, она хочет, чтобы жизнь его была прекрасна, чтобы он добивался славы; она подчиняется, она просит и повелевает; в ней

и самоуничижение и величие, и она умеет утешать в тех случаях, когда девушка умеет лишь жаловаться. Наконец, тридцатилетняя женщина, помимо всех иных своих преимуществ, может вести себя по-девичьи, играть любые роли, быть целомудренной, стать еще пленительнее в своем несчастье. Между ними неизмеримое несходство, отличающее предусмотренное от случайного, силу от слабости. Тридцатилетняя женщина идет на все, а девушка из девичьего страха вынуждена перед всем отступать. Такие мысли теснятся в голове молодого человека и порождают подлинную страсть, ибо она соединяет искусственные чувства, созданные нравами, с чувствами естественными.

Самый главный и самый решительный миг в жизни женщины именно тот, который сама она считает самым незначительным. Выйдя замуж, она более не принадлежит себе, она властительница и раба домашнего очага. Безупречная нравственность женщины несовместима с обязанностями и свободными нравами света. Эмансипировать женщину — значит развратить ее. Допустить чужого к святая святых семьи — не значит ли отдаться на его милость? Но если женщина привлекает его, разве это уже не проступок

или, для большей точности, не начало проступка? Надобно согласиться с этой суровой теорией или же оправдать страсти. До сих пор во Франции общество избирает нечто среднее: оно смеется над несчастьем. Подобно спартанцам, каравшим пойманного вора только за неловкость, оно, по-видимому, допускает воровство. Но, быть может, такая система вполне разумна. Самое ужасное наказание — это общее презрение, оно поражает женщину в самое сердце.

Женщины стремятся и всегда должны стремиться к тому, чтобы их уважали, ибо без уважения они не существуют; поэтому они требуют от любви в первую очередь уважения. Самая развращенная женщина, продавая свое будущее, хочет прежде всего полного оправдания своему прошлому и пытается внушить любовнику, что обменивает на невыразимое блаженство уважение, в котором теперь откажет ей свет. Нет женщины, у которой не возникли бы такие размышления, когда она впервые принимает у себя молодого человека и остается с ним наедине; особенно если он, как Шарль де Ванденес, хорош собою и остроумен. И вряд ли молодой человек, почувствовав влечение к ней, не станет втайне оправдывать всяческими рассуждениями свою

врожденную склонность к женщинам красивым, остроумным и несчастливым, какою была г-жа д'Эглемон. Поэтому, когда доложили о Ванденесе, г-жа д'Эглемон смутилась; а ему стало не по себе, невзирая на самообладание, которое является как бы облачением дипломата. Но маркиза сейчас же приняла тот снисходительно-благосклонный вид, который охраняет женщин от всяких тщеславных помыслов на их счет.

Такое поведение никому не позволит подозревать их; они, так сказать, принимают в соображение чувство и весьма вежливо умеряют его. Женщины разыгрывают сколько им вздумается эту двусмысленную роль, словно остановившись на распутье, дороги от которого ведут к уважению, безразличию, удивлению или страсти. Только в тридцать лет женщина умеет пользоваться таким выигрышным положением. Она умеет посмеяться, пошутить, приласкать, не уронив себя в глазах света. В эту пору она уже обладает необходимым тактом, умеет затронуть чувствительные струны мужского сердца и прислушаться к их звучанию. Молчание ее так же опасно, как и ее речь. Вам никогда не угадать, искренна ли женщина этого возраста или полна притворства, насмешлива или чистосердечна.

Она дает вам право вступить в борьбу с нею, но достаточно слова ее, взгляда или одного из тех жестов, сила которых ей хорошо известна, и сражение вдруг прекращается; она покидает вас и остается властительницей вашей тайны; она вольна предать вас на посмеяние, она вольна оказывать вам внимание, она защищена как слабостью своею, так и вашей силой. Маркиза и встала на этот неопределенный путь, когда Ванденес впервые посетил ее, но сохранила высокое женское достоинство. Затаенная печаль легким облачком, чуть скрывающим солнце, неотступно реяла над ее напускной веселостью. Беседа с нею доставила Ванденесу еще не изведанное им наслаждение, но вместе с тем внушила ему мысль, что маркиза д'Эглемон принадлежит к числу тех женщин, победа над которыми обходится так дорого, что не стоит и добиваться их любви.

«Это было бы, — думал он по дороге домой, — *беспредельное чувство,* переписка, от которой устал бы даже какой-нибудь честолюбивый помощник столоначальника. И все же, если б я захотел…»

Роковое «*если б я захотел*» вечно губит упрямцев. Во Франции самолюбие толкает к страсти. Шарль вновь явился к г-же д'Эглемон, и ему

показалось, что маркизе приятно его общество. Вместо того чтобы простодушно отдаться счастью любви, ему вздумалось играть двойную роль. Он попробовал прикинуться страстным, потом хладнокровно исследовать ход интриги, быть и влюбленным и дипломатом; но он был великодушен и молод, и такое испытание привело лишь к тому, что он влюбился без памяти, ибо, притворялась ли маркиза или была естественной, сила всегда была на ее стороне. Всякий раз, выходя от г-жи д'Эглемон, Шарль испытывал недоверие, беспощадно анализировал все движения ее души, и это убивало его собственные чувства.

«Сегодня, — рассуждал он после третьего посещения, — она дала мне понять, что очень несчастна и одинока, что только дочь привязывает ее к жизни. Она безропотно подчиняется своей участи. Но ведь я не брат ей, не духовник, отчего же она исповедуется мне в своих горестях? Она в меня влюблена».

Дня через два, уходя от нее, он обрушился на современные нравы:

«Любовь отражает свой век. В тысяча восемьсот двадцать втором году она занимается доктринерством. Ее не доказывают на деле, как бывало, а о ней рассуждают, о ней спорят, о ней разгла-

гольствуют ораторы. Женщины свели все к трем приемам: сначала они сомневаются в нашей любви, уверяют, что мы не можем любить так сильно, как они. Все это кокетство! Ведь сегодня маркиза бросила мне настоящий вызов. Затем они прикидываются несчастными, чтобы пробудить в нас прирожденное великодушие или самолюбие: молодому человеку лестно стать утешителем такой великой страдалицы. Наконец, у всех женщин мания целомудрия! Маркиза, должно быть, воображает, что я принимаю ее за невинную девицу. Моя доверчивость дает ей в руки козырь».

Но однажды, исчерпав все свои подозрения, он спросил себя: а не искренна ли маркиза? Можно ли разыгрывать такие страдания? К чему ей притворяться смиренницей? Она жила в глубоком уединении, в тиши, поглощенная своими скорбными думами, о них Ванденес с трудом догадывался по некоторым ее сдержанным замечаниям. С той поры Шарль стал проявлять горячее участие к г-же д'Эглемон. Но как-то, идя на одно из обычных свиданий, которые были уже им необходимы, в час, установленный ими невольно, Ванденес все же раздумывал о том, что г-жа д'Эглемон скорее ловка, нежели искренна, и

его последнее слово было: «Право же, она очень хитра». Он вошел и увидел, что маркиза сидит в своей любимой позе, исполненной печали; она подняла глаза и, не шелохнувшись, бросила на него тот приветливый взгляд, который у женщин подобен улыбке. Лицо г-жи д'Эглемон выражало доверие, истинную дружбу, но отнюдь не любовь. Шарль сел; говорить он не мог. Его волновали чувства, которые не выразить словами.

— Что с вами? — мягко спросила она.

— Ничего… Впрочем, я думаю об одной вещи, до которой вам и дела нет.

— О чем же?

— Ведь… конгресс закончился.

— Так, значит, — заметила она, — вам надобно было поехать на конгресс?

Прямой ответ был бы самым красноречивым, самым тонким признанием, но Шарль промолчал. Весь облик г-жи д'Эглемон дышал искренней дружбой, которая разбивала все расчеты тщеславия, все упования любви, все подозрения дипломата; маркиза не знала или делала вид, что не знает о его любви, и когда Шарль, совсем смущенный, собрался с мыслями, он принужден был признаться себе, что ни один его поступок, ни одно слово не давали оснований этой женщине

так думать. Весь вечер маркиза была такой же, какой бывала всегда: простой, внимательной, искренней в своей скорби, счастливой, что у нее нашелся друг, гордой, что обрела родственную ей, близкую душу; большего она и не хотела, она не представляла себе, что женщина может дважды поддаться чарам любви; она уже изведала любовь и еще хранила ее в своем исстрадавшемся сердце; она не предполагала, что женщина дважды может потерять голову от счастья, ибо она верила не только в разум, но и в душу; и для нее любовь была не просто обольщением, а чувством возвышенным. И Шарль вновь превратился во влюбленного юношу: он подпал под обаяние цельного характера Жюли, захотел, чтобы она посвятила его во все тайны своей жизни, сложившейся неудачно скорее по воле случая, нежели из-за ошибки. Когда он спросил, отчего она сегодня так печальна — а печаль придавала ее красоте особую прелесть, — г-жа д'Эглемон взглянула на своего друга, и этот глубокий взгляд явился как бы печатью, скрепляющей торжественное соглашение.

— Никогда не задавайте мне таких вопросов, — промолвила она, — в этот день три года назад умер человек, любивший меня, единственный

человек в мире, ради которого я пожертвовала бы даже своей честью; он умер, чтобы спасти мое доброе имя. Оборвалась молодая, чистая любовь, полная иллюзий. Я любила его всей душой, это было роковое, неповторимое чувство. А за кого я вышла замуж?.. Меня пленил пустой фат с приятной внешностью; вот так часто гибнут девушки. В замужестве не сбылась ни одна моя надежда. Теперь я утратила и законное счастье, и то счастье, которое называют преступным, но истинного счастья я не познала. У меня ничего не осталось в жизни. И раз я не умерла, я должна, по крайней мере, хранить верность своим воспоминаниям.

Она не заплакала, говоря это, а только потупилась и чуть сжала пальцы, переплетая их по привычке. Она говорила сдержанно, но в ее голосе звучала глубокая тоска — такой глубокой, вероятно, была любовь ее, — и у Шарля не осталось ни малейшей надежды. Вся ее жизнь, полная терзаний, о которых она рассказала в нескольких словах, выразительно сжимая руки, неутолимая скорбь этой хрупкой женщины, бездна мысли в хорошенькой головке, наконец, печаль, слезы, проливаемые три года по ушедшему из жизни, пленили Ванденеса; он сидел молча рядом с этой благородной, величавой женщиной, сознавая все

свое ничтожество; он уже не думал о том, как хороша ее внешность, такая восхитительная, такая совершенная, а видел душу ее, возвышенную душу. Наконец-то он встретил идеальное существо, которое видят в несбыточных мечтах, которое страстно призывают все те, для кого жизнь — это любовь; ее они ищут пламенно и часто умирают, так и не насладившись всеми сокровищами своих мечтаний.

Пошлыми казались Шарлю его помыслы, когда он слушал ее речи, видел ее одухотворенную красоту. Он не мог найти нужных, значительных слов, которые были бы под стать этой простой и в то же время торжественной сцене, и говорил избитые фразы об участи женщины.

— Сударыня, надобно или забыть свои утраты, или же отказаться от жизни.

Но рассудок всегда мелок в сравнении с чувством; он по природе своей ограничен, как и вообще все позитивное, чувство же бесконечно. Рассуждать там, где надо чувствовать, — свойство бескрылой души. Поэтому Ванденес умолк и долгим взглядом посмотрел на г-жу д'Эглемон, затем он откланялся. Он был в мире новых представлений, возвышавших в его глазах женщину, и походил на живописца, который, привыкнув

писать простых натурщиц, вдруг встретил бы музейную Мнемозину — самую прекрасную, недостаточно ценимую античную статую. Шарль страстно влюбился. Он полюбил г-жу д'Эглемон пылко, со всей искренностью молодости, а это сообщает первой страсти ту невыразимую прелесть, ту чистоту, от которых позже, если мужчина полюбит еще раз, уже останутся одни осколки; это страсть, которой с упоением наслаждаются женщины, внушившие ее, ибо в этом прекрасном возрасте — в тридцать лет, на поэтической вершине своей жизни — женщины могут проследить весь путь ее и видеть будущее так же хорошо, как прошлое. Женщины знают тогда цену любви и дорожат ею, боясь утратить ее; в ту пору душу их еще красит уходящая молодость, и любовь их делается все сильнее от страха перед будущим.

«Я люблю, — твердил на этот раз Ванденес, уходя от маркизы, — но, на свою беду, я встретил женщину, влюбленную в воспоминания. Трудно соперничать с человеком, которого нет в живых, — он уже не натворит глупостей, никогда не перестанет нравиться, и ему приписывают одни лишь высокие достоинства. Стремиться низвергнуть совершенство — значит попытаться

развеять прелесть воспоминаний и надежд, которые пережили погибшего возлюбленного именно оттого, что он пробуждал лишь мечтания, а разве в любви есть что-нибудь прекраснее, что-нибудь пленительнее мечтаний?»

Печальное это раздумье, вызванное унынием и боязнью, что он не добьется успеха — а так и начинается всякая истинная страсть, — было последним дипломатическим расчетом Ванденеса. Отныне у него уже не было подозрений, он стал игрушкой своей любви и весь отдался неизъяснимому блаженству, живя теми пустяками, которые питают его: нечаянно оброненным словом, молчанием, смутною надеждой. Он мечтал о любви платонической, ежедневно приходил к г-же д'Эглемон дышать воздухом, которым она дышит, как бы врос в ее дом и сопровождал ее повсюду с деспотизмом страсти, который примешивает эгоизм даже к самой беззаветной преданности. У любви есть свой инстинкт, она умеет найти путь к сердцу, подобно тому как слабая букашка бесстрашно направляется к излюбленному цветку с непоколебимым упорством. Поэтому, когда чувство настоящее, в судьбе его можно не сомневаться. Как не испытывать женщине ужаса при мысли о том, что вся жизнь ее зависит от того,

с какою искренностью, силою, настойчивостью влюбленный будет добиваться взаимности? А ведь женщина, супруга, мать, не может запретить молодому человеку любить ее; единственное, что в ее власти, — это перестать встречаться с ним, как только она догадается о его сердечной тайне — о ней женщина всегда догадывается. Но шаг этот кажется ей чересчур решительным, у женщины не хватает воли сделать его, особенно когда брак тяготит ее, приелся ей и утомил ее, когда супружеская любовь почти совсем остыла, а быть может, муж и вовсе уже бросил ее. Женщинам некрасивым любовь льстит, она превращает их в красавиц; для молодых же и обворожительных искуситель должен быть так же молод и обворожителен, поэтому искушение особенно велико; добродетельных женщин прекрасное, но такое земное чувство заставляет искать некое оправдание греха в тех больших жертвах, которые они приносят любовнику, гордиться трудной борьбой, которую они ведут с собою. Все это ловушка. Перед силою соблазна все бессильно.

Затворничество, которое некогда предписывалось женщине в Греции, на Востоке и которое становится модным в Англии, — единственная защита домашнего очага; но при такой системе

исчезнет вся прелесть светской жизни: учтивость, общение, изысканность нравов тогда станут невозможны. Нациям придется сделать выбор. Итак, несколько месяцев спустя после первой встречи с Ванденесом г-жа д'Эглемон поняла, что жизнь ее тесно связана с его жизнью; ее изумило, но не повергло в смущение, а даже доставило некоторое удовольствие сходство их вкусов и мыслей. Переняла ли она образ мыслей Ванденеса, Ванденес ли сжился со всеми ее прихотями? Она не рассуждала об этом. Ее уже захватил поток страсти, и, страшась ее, прелестная эта женщина старалась обмануть себя и твердила: «Нет, нет! Я буду верна тому, кто умер за меня!»

Паскаль сказал: «Сомневаться в Боге — значит верить в него». Так и женщины начинают противиться, только когда они уже увлечены. В тот день, когда маркиза д'Эглемон призналась себе, что она любима, ей пришлось лавировать между тысячью противоречивых чувств. Заговорил здравый смысл, порожденный жизненным опытом. Будет ли она счастлива? Обретет ли счастье вне законов, на которых, справедливо ли, нет ли, зиждутся нравственные устои общества? До сих пор жизнь ее была отравлена горечью. Можно ли надеяться на счастливую развязку,

если узы любви соединяют два существа вопреки светским условностям? С другой стороны, чего не отдашь за счастье? А может быть, она в конце концов найдет счастье, которого так пламенно желала, — ведь искать его так естественно! Любопытство всегда выступает в защиту влюбленных. В разгар этого тайного пререкания вошел Ванденес. Его появление рассеяло бесплотный призрак благоразумия. Если так последовательно меняется пусть даже мимолетное чувство молодого человека и тридцатилетней женщины, то наступит миг, когда все оттенки смешаются, когда все рассуждения вытеснятся одним последним рассуждением, которое оправдает и подкрепит желание любви. Чем дольше сопротивление, тем громче звучит голос страсти. Здесь и заканчивается урок, вернее, изучение «обнаженных мышц», если позволено заимствовать у живописцев одно из их образных выражений; ибо повесть эта не столько рисует любовь, сколько объясняет, в чем опасности любви и что движет ею. С того дня, как появились краски на анатомическом этюде, он ожил, он заблистал красотой и прелестью молодости, он пленял чувства и звал к жизни. Шарль вошел и, увидев, что г-жа д'Эглемон глубоко задумалась, спросил ее тем проникновенным

тоном, которому колдовская сила любви придает что-то трогательное: «Что с вами?» — но она из осторожности промолчала. Ласковый вопрос этот говорил о полном созвучии душ; и маркиза благодаря удивительному женскому чутью поняла, что если она пожалуется или скажет о своей сердечной скорби, то поощрит его. Если каждое их слово и без того было полно значения, понятного только им, то какая же пропасть открывалась перед ней? Она ясно прочла это в своей душе и молчала, а Ванденес, следуя ее примеру, тоже хранил молчание.

— Мне не здоровится, — произнесла она наконец, испугавшись той торжественной тишины, когда язык взглядов бывает красноречивее слов.

— Сударыня, — нежно и взволнованно сказал Шарль, — душа и тело связаны между собой. Будь вы счастливы, вы были бы молоды и здоровы. Почему вы не позволяете себе просить у любви того, чего любовь лишила вас? Вы считаете, что жизнь ваша кончена, а она для вас только начинается. Доверьтесь заботам друга. Ведь так сладостно быть любимой!

— Я уже стара, — промолвила она, — для меня не будет оправданий, если я перестану страдать, как страдала прежде… Вы говорите, что надо

любить? Так вот, я не должна, я не могу любить! Кроме вас — а дружба ваша вносит радость в мою жизнь — никто не нравится мне, никто не мог бы стереть мои воспоминания. Я принимаю друга, но не стала бы принимать влюбленного. Да и благородно ли взамен своего увядшего сердца принять в дар молодое сердце, полное иллюзий, которых уже не можешь разделять, когда уже не можешь дать счастье, потому что сама не веришь в счастье, или же будешь бояться потерять его? Я, пожалуй, ответила бы эгоистически на его привязанность и стала бы рассчитывать в тот час, когда он всецело отдавался бы чувству; воспоминания мои оскорбили бы его живые радости. Нет, поверьте, первую любовь не заменить. Да и кто согласится завоевать мое сердце такой ценой?

Слова эти, в которых чувствовался страшный вызов, были последним усилием разума.

«Ну что ж, если это его оттолкнет, буду одинока и верна». Мысль эта промелькнула в уме маркизы и стала для нее соломинкой, за которую хватается утопающий. Ванденес, услышав свой приговор, невольно вздрогнул, и это тронуло г-жу д'Эглемон сильнее, нежели все те знаки внимания, которые он проявлял к ней последнее время. Женщин более всего умиляет в нас та ласковая

утонченность, та изысканность чувств, какие свойственны им самим; ибо для них нежность и утонченность служат верными признаками «истинности». Ванденес вздрогнул, и это говорило о настоящей любви. Заметив, что ему тяжело, г-жа д'Эглемон поняла, как велико его чувство. Молодой человек холодно ответил:

— Пожалуй, вы и правы. Новая любовь — новое горе.

И он заговорил о другом, о вещах безразличных, но было заметно, что он взволнован; он смотрел на г-жу д'Эглемон с сосредоточенным вниманием, будто видел ее в последний раз. Наконец он откланялся, проговорив с волнением:

— Прощайте, сударыня!

— До свиданья, — молвила она с тем тонким, еле уловимым кокетством, секрет которого известен лишь немногим женщинам.

Он не ответил и ушел. Когда Шарль исчез и только опустевший стул напоминал о нем, ее охватило сожаление, она стала винить себя. Страсть с особой силой разгорается в душе женщины, когда она думает, что поступила невеликодушно, оскорбила благородное сердце. Никогда не следует опасаться недобрых чувств в любви: они целительны; женщины падают только под

ударами добродетели. «Благими намерениями ад вымощен» — эти слова не парадокс проповедника. Несколько дней Ванденес не появлялся. Каждый вечер, в час обычного свидания, маркиза нетерпеливо ждала его, и ее мучили угрызения совести. Писать означало бы признаться; кроме того, внутренний голос говорил ей, что он вернется. На шестой день лакей доложил о нем. Никогда еще не было ей так приятно слышать его имя. Радость эта испугала ее.

— Вы меня наказали, — сказала она ему.

Ванденес с недоумением посмотрел на нее.

— Наказал? — повторил он. — Чем же?

Шарль отлично понимал маркизу; но ему хотелось отомстить ей за страдания, во власти которых он находился с того мгновения, как она догадалась о его чувстве.

— Почему вы не приходили? — сказала она, улыбаясь.

— Разве вас никто не посещал? — спросил он, не давая прямого ответа.

— Господа де Ронкероль, де Марсе, молодой д'Эгриньон навещали меня, они просидели часа по два, один — вчера, другой — сегодня. Виделась я, кажется, и с госпожой Фирмиани, и с вашей сестрой, госпожой де Листомэр.

Новые страдания! Муки, непонятные тем, кто не испытал неистового деспотизма страсти, сказывающегося в чудовищной ревности, в постоянном желании оградить любимое существо от всякого постороннего влияния, чуждого любви.

«Вот как! — подумал Ванденес. — Она принимала, она видела довольные лица, она болтала с гостями, а я-то… Как я тосковал в одиночестве!»

Он затаил душевную боль и схоронил любовь свою в глубине сердца, как гроб в море. Мысли его нельзя было выразить словами; они были неуловимы, как те кислоты, которые, испаряясь, убивают. Но лицо его омрачилось, и г-жа д'Эглемон с женской чуткостью разделила его грусть, не ведая ее причины. Она без умысла нанесла удар Ванденесу, и он понял это. Он заговорил о своем душевном состоянии и о своей ревности шутливо, как часто говорят влюбленные. Маркиза все угадала и была так взволнованна, что не могла сдержать слез. И с этого мгновения они перенеслись в рай. Рай и ад — это две великие поэмы, они выражают два начала, вокруг которых вращается наше существование: радость и страдание. Не есть ли, не будет ли рай вечным образом бесконечности наших чувств, в котором меняются лишь частности, ибо само счастье еди-

но; и не символизирует ли собою ад бесконечные пытки, терзания наши, из которых мы можем создать поэтическое произведение, ибо все они различны?

Как-то вечером влюбленные, сидя друг подле друга, молча созерцали небосклон в тот час, когда он всего прекраснее — когда последние солнечные лучи расцвечивают небо блеклыми золотистыми и багряными тонами. В эту пору дня свет их тихо меркнет и будто пробуждает нежные чувства; вокруг царит покой, наши страсти смягчаются, и мы вкушаем какое-то приятное волнение. Сама природа в мутных образах рисует перед нами счастье и призывает нас наслаждаться им, если оно рядом с нами, или сожалеть о нем, если оно ушло. В эти мгновения, преисполненные очарования, под пологом из лучей, нежные сочетания которых словно вторят тайному искушению, трудно устоять против велений сердца: в этот час они всесильны! Горе тогда притупляется, радость опьяняет, а грусть тяготит. Торжественная вечерняя пора побуждает к признаниям. Молчание становится опаснее слов, сообщая глазам беспредельную глубину неба, которое в них отражается. А стоит сказать слово — в нем звучит волшебная сила.

Не свет ли пламенеет тогда в голосе, не пурпуром ли горит тогда взгляд? Не в нас ли самих тогда рай, не в небесах ли мы сами? Итак, Ванденес и Жюли — уже несколько дней она позволяла ему называть ее по имени, и ей самой так нравилось называть его Шарлем — итак, они сидели у окна и разговаривали. Но оба были очень далеки от обыденной темы беседы и, не понимая смысла своих речей, с восхищением внимали тайным мыслям, скрытым за словами. Рука маркизы лежала в руке Ванденеса, и она не отнимала ее, не почитая это за милость.

Они одновременно повернулись, чтобы взглянуть на возникший в небе фантастический пейзаж, покрытый снегом, ледниками, серыми тенями, скользившими по склонам причудливых гор, — одну из тех неподражаемых и мимолетных поэтических картин с резкими переходами от багряно-пламенных до черных тонов, украшающих небо; тот великолепный полог, за которым возрождается солнце, прекрасный саван, облекаясь в который оно уходит. Волосы Жюли коснулись щеки Ванденеса; Жюли почувствовала это легкое прикосновение и вздрогнула, он вздрогнул еще сильнее, ибо они мало-помалу подошли к одному из тех необъяснимых душевных переломов, ко-

гда тишина так обостряет чувства, что малейший пустяк вызывает слезы и наполняет печалью, если сердце погружено в тоску или же доставляет несказанную радость, если оно трепещет от любви. Жюли почти невольно сжала руку своему другу. Выразительное пожатие придало смелости робкому влюбленному. Радость настоящего и надежды на будущее — все слилось в волнении первой ласки, целомудренного, несмелого поцелуя, который Жюли позволила Шарлю запечатлеть на ее щеке. Чем сдержаннее была эта ласка, тем сильнее, тем опаснее была она. К их общему несчастью, не было в ней и тени фальши. То сочетались две прекрасные души, разделенные тем, что является законом, соединенные тем, что обольщает в природе. В этот миг вошел генерал д'Эглемон.

— Сменилось правительство, — объявил он. — Ваш дядя — член нового кабинета. Итак, Ванденес, теперь у вас все возможности стать посланником.

Шарль и Жюли покраснели и переглянулись. Неловкость была еще одной связующей нитью. Они подумали об одном и том же, почувствовали одинаковые угрызения совести; страшные и такие же крепкие узы связывают двух разбой-

ников, только что убивших человека, как и двух влюбленных, виновных в поцелуе. Надо было отвечать маркизу.

— Я раздумал уезжать из Парижа, — сказал Шарль де Ванденес.

— Нам-то известно почему, — заметил генерал с тем хитрым выражением, какое бывает у человека, открывающего чужой секрет. — Вам не хочется расставаться с дядюшкой, чтобы вас объявили наследником его пэрства.

Жюли быстро ушла к себе в комнату, и в голове у нее мелькнула ужасная мысль о муже: «До чего же он глуп!»

IV
Перст божий

Между Итальянской заставой и заставой Санте, с внутреннего бульвара, что ведет к Ботаническому саду, открывается такая панорама, которая пленяет не только художника, но и путешественника, пресыщенного самыми восхитительными видами. Дойдите до небольшого подъема, где бульвар, затененный высокими ветвистыми деревьями, заворачивает, словно зеленая лесная дорога, прелестная и уединенная, и вы увидите у ног своих обширную долину с постройками, напоминающими сельские домики, кое-где покрытую растительностью, орошенную мутными водами Бьевры — иначе: рекою Гобеленов. На противоположном склоне горы тысячеголовой толпой теснятся крыши, под которыми ютится нищета предместья Сен-Марсо. Великолепный купол Пантеона и тусклая, печальная глава Вальде-Грас горделиво высятся над городом, расположенным амфитеатром, и причудливы уступы его, окаймленные извилистыми улицами. Отсюда кажется, что у двух этих зданий какие-то исполинские

размеры: рядом с ними скрадываются и хрупкие строения, и самые высокие тополя, растущие в долине. Слева, словно черный и костлявый призрак, стоит Обсерватория, сквозь окна и галереи которой струится свет, рисуя немыслимые, затейливые узоры. Вдали меж голубоватыми постройками Люксембургского дворца и серыми башнями Сен-Сульписа искрится изящный фонарь Дома инвалидов. Когда смотришь отсюда, контуры зданий сливаются с листвою, с тенями, и зависит это от капризов неба, то и дело меняющего цвет, освещение и вид. Вдалеке в воздушном пространстве четко вырисовываются дома, а вокруг колышется и трепещет листва деревьев и вьются исхоженные тропинки. Справа, в рамке этого своеобразного пейзажа, белеет длинная полоса Сен-Мартенского канала, окаймленного бурым камнем, обсаженного липами, с амбарами вдоль берега, построенными в чисто римском духе. Там, на заднем плане, очертания холмов Бельвиля, подернутых дымкой и усеянных домами и мельницами, сливаются с очертаниями облаков. Однако между рядами кровель, обрамляющими долину, и небосклоном, туманным, точно воспоминание детства, существует целый город, который не виден вам, — обширный квартал,

затерянный, как в пропасти, между крышами больницы для бедных и высокою оградою Восточного кладбища, между страданием и смертью. Оттуда доносится глухой шум, напоминающий рокот океана, бьющегося о скалы; он словно возвещает: «Я здесь!»

Стоит солнцу залить потоком света эту часть Парижа и сделать чище и мягче линии; стоит ему вспыхнуть кое-где в стеклах, скользнуть по черепичной кровле, зажечься в золоченых крестах, ослепить вас белизною стен и превратить воздух в прозрачное марево; стоит ему создать богатую и причудливую игру света и тени; стоит небу стать лазурным, а на земле закипеть жизни, раздаться колокольному звону — и перед вашим плененным взглядом предстанет красочная, волшебная картина, которая никогда не сотрется в воображении вашем и которой вы будете восхищаться и восторгаться, как чудесными видами Неаполя, Стамбула или Флориды. В смутном хоре звуков все — гармония. Там и гул людской толпы, и мелодия тихого уединения, голос миллиона существ и голос Бога. Там, распростершись под темными кипарисами Пер-Лашеза, покоится столица.

Однажды весенним утром, в тот час, когда солнце озаряло этот пейзаж во всей его красоте, я

любовался им, прислонившись к большому вязу, подставлявшему ветру свои желтые цветы. И при виде этих роскошных, этих величавых картин я с горечью размышлял о том пренебрежении, которое мы теперь проявляем, даже в книгах, к своей стране. Я проклинал жалких богачей, которые, пресытившись прекрасной Францией, покупают ценою золота право пренебрегать родной страною и мчатся вскачь по Италии, разглядывая в лорнет столь опошленные пейзажи. Я с любовью смотрел на современный Париж, я мечтал, но вдруг звук поцелуя нарушил мое уединение и спугнул мои философские размышления. На боковой аллее, вьющейся над обрывом, у подножия которого плещется река, по другую сторону моста Гобеленов, я увидел женщину, еще довольно молодую, одетую с изящной простотою; на нежном лице ее словно отражалась та радость жизни, что освещала весь пейзаж. Красивый молодой человек поставил на землю мальчика, миловиднее которого трудно найти, и мне так и не удалось узнать, был ли прозвучавший поцелуй запечатлен на щеке матери или на щеке ребенка. Одно и то же чувство, нежное и горячее, оживляло взгляды, жесты, улыбку и мужчины и женщины. Они приблизились друг к другу,

увлеченные чудесным единым порывом, руки их сплелись так радостно и так поспешно, и они так были поглощены собою, что даже не заметили моего присутствия. Но был тут еще один ребенок — с недовольным, сердитым лицом; он повернулся к ним спиною и бросил на меня взгляд, удивительный по своему выражению. Его маленький брат бежал то позади, то впереди матери и молодого человека, а этот ребенок, такой же хорошенький, такой же грациозный, но с чертами более тонкими, стоял молча, застыв, словно змееныш, впавший в спячку. То была девочка. Казалось, красавица и ее спутник двигаются машинально. Быть может, по рассеянности они ходили взад и вперед вдоль небольшого пространства, от мостика до коляски, ожидавшей на повороте бульвара; довольствуясь коротким этим путем, они то шли, то останавливались, переглядывались, смеялись, смотря по тому, о чем шел разговор, то оживленный, то медлительный, то веселый, то серьезный.

Я спрятался за большим вязом и любовался пленительной сценой; разумеется, я не стал бы посягать на чужую тайну, если бы не подметил на лице задумчивой и молчаливой девочки печать мысли более глубокой, нежели то обычно

бывает в ее возрасте. Когда ее мать и молодой человек, поравнявшись с нею, шли обратно, она угрюмо склоняла голову и исподлобья бросала на них и на брата какие-то странные взгляды. Нельзя передать той хитрой проницательности, того наивного коварства, той настороженности, которые вдруг появлялись на этом детском личике, в глазах, обведенных легкой синевой, стоило молодой женщине или ее спутнику погладить белокурые локоны мальчика, ласково обнять его свежую шейку, окаймленную белым воротничком, когда он, расшалившись, пытался шагать с ними в ногу. Право, на худеньком личике этой странной девочки запечатлелась настоящая страсть взрослого человека. Она или страдала, или размышляла. Что же предрекает смерть этим цветущим созданиям? Болезнь ли, подтачивающая тело, или скороспелая мысль, пожирающая их едва развившуюся душу? Может быть, об этом известно матери. Я же не знаю ничего страшнее старческой мысли на челе ребенка — богохульство в устах девственницы не так чудовищно. И вот какой-то отсутствующий вид у этой девочки, уже мыслящей, ее неподвижность затронули мое воображение. Я с любопытством стал следить за нею. По прихоти фантазии, естественной для

наблюдателя, я сравнивал ее с братом, стараясь уловить сходство и различие между ними. У нее были темные волосы, черные глаза, и она была высока не по летам, а у мальчика внешность была совсем иная: белокурые волосы, глаза зеленые, как море, изящная хрупкость. Девочке, вероятно, было лет семь-восемь, брату ее — не больше шести. Одеты они были одинаково; впрочем, приглядевшись внимательнее, я заметил в их воротничках еле приметное отличие, по которому я потом угадал целый роман в прошлом и целую драму в будущем. То была сущая безделица. Воротничок смуглолицей девочки был подрублен простым рубцом, воротничок мальчика украшала прелестная вышивка; это выдавало тайну сердца, предпочтение, выраженное без слов, которое дети читают в душе своих матерей будто по наитию божьему. Белокурый мальчуган, беззаботный, веселый, мог сойти за девочку, так свежа была его белая кожа, так изящны его движения, так миловидно личико. Сестра же его, невзирая на свою силу, невзирая на прекрасные черты и яркий румянец, походила на болезненного мальчика.

Живые глаза ее, лишенные того влажного блеска, который придает столько прелести дет-

скому взору, казались иссушенными внутренним огнем, как глаза царедворца. Кожа у нее была матовая, оливкового оттенка, а это признак решительного характера. Уже два раза ее братец подбегал к ней с трогательной ласковостью, умильно и выразительно смотрел на нее, так что очаровал бы самого Шарля, и протягивал ей охотничий рожок, в который он то и дело трубил; но всякий раз на нежно сказанное им: «Хочешь, возьми, Елена?» — она отвечала суровым взглядом. Что-то угрюмое, зловещее было в этой девочке, и, хоть спокойно было выражение ее лица, она вздрагивала и даже заливалась ярким румянцем всякий раз, когда к ней приближался брат; но мальчик не замечал, что сестра в дурном расположении духа, и его беззаботность, смешанная с участием, составляла резкую противоположность между настоящим детским характером и характером взрослого человека, умудренного опытом и отягченного заботами, которые запечатлелись на лице девочки, уже омраченном темными тучами.

— Мама, Елена не хочет играть! — пожаловался мальчик, воспользовавшись тем, что мать и молодой человек остановились на мосту Гобеленов.

— Оставь ее, Шарль! Ты ведь знаешь, она вечно капризничает.

От слов этих, рассеянно произнесенных матерью, которая тотчас же пошла вместе с молодым человеком обратно, на глазах у Елены выступили слезы. Она молча проглотила слезы и, бросив на брата глубокий взгляд, который показался мне необъяснимым, стала с мрачным и испытующим видом рассматривать крутой откос, на вершине которого стоял мальчик, затем реку Бьевру, мост, весь ландшафт и меня.

Я побоялся, что счастливая пара заметит мое присутствие и я помешаю ее разговору, поэтому потихоньку отошел и спрятался за живою изгородью из бузины; густая листва скрыла меня от чужих взглядов. Спокойно уселся я на пригорке, чуть повыше бульвара, и, прислонившись к стволу дерева, глядел то на живописный пейзаж, то на странную девочку, которую мне было видно в просвете изгороди, меж густыми ветвями. Елена, не видя меня более, как будто встревожилась, ее черные глаза с неизъяснимым любопытством искали меня вдали, в глубине аллеи, за деревьями. Чего же хотела она от меня? В это время, словно пение птицы, раздался в тишине звонкий смех Шарля. Красивый молодой человек, белокурый,

как и мальчуган, подбрасывал его и целовал, осыпая забавными ласковыми прозвищами, которыми мы любовно наделяем детей. Молодая женщина улыбалась, глядя на эту сцену, и порою, вероятно, произносила вполголоса слова, исходившие ил глубины сердца, ибо спутник ее останавливался и смотрел на нее голубыми глазами, полными огня, полными обожания. Их голоса сливались с возгласами мальчугана и звучали удивительно мелодично. Все трое были прелестны. Эта сцена придавала несказанное очарование великолепному ландшафту. Красивая белолицая смеющаяся женщина, дитя любви, мужчина во всем обаянии молодости, чистое небо, наконец, полная гармония природы — все это радовало душу. Я почувствовал, что невольно улыбаюсь, словно сам вкушаю счастье. Молодой красавец прислушался — пробило девять часов. Он нежно поцеловал свою спутницу — она вдруг стала серьезной и даже печальной — и пошел навстречу медленно приближавшемуся тильбюри, которым правил старый слуга. Болтовня мальчугана-любимца слилась со звуками прощальных поцелуев, которыми осыпал его молодой человек. Когда же молодой человек сел в коляску, когда женщина, словно застыв, стала прислушиваться

к стихавшему стуку колес, следя, как вздымается облако пыли на зеленой аллее бульвара, Шарль подбежал к сестре, стоявшей у моста, и до меня донесся его серебристый голосок:

— Почему же ты не простилась с моим дружком?

Елена метнула на брата, остановившегося на краю обрыва, страшный взгляд — вряд ли такой взгляд вспыхивал когда-нибудь в глазах ребенка — и яростно толкнула его. Шарль покатился по крутому склону, налетел на корни, его отбросило на острые прибрежные камни, поранило ему лоб, и он, обливаясь кровью, упал в грязную реку. Вода расступилась, и хорошенькая светлая головка исчезла в мутных речных волнах. Раздались душераздирающие вопли бедного мальчика; но они сейчас же умолкли, их заглушила тина, в которой он исчез с таким шумом, будто ко дну пошел тяжелый камень. Все это произошло с быстротою молнии. Я вскочил, сбежал по тропе. Елена была потрясена и пронзительно кричала:

— Мама, мама!

Мать была здесь, рядом со мною. Она прилетела, как птица. Но ни материнские, ни мои глаза не могли распознать места, где утонул ребенок. Вода была черная, и на огромном пространстве

бурлили водовороты. Русло Бьевры в этом месте покрыто слоем грязи футов в десять толщиною. Ребенку суждено было погибнуть. Спасти его было невозможно. В воскресное утро все еще отдыхали, нигде не было видно ни лодки, ни рыбаков. Нигде ни шеста, чтобы провести по дну смрадного потока, нигде ни души. Зачем мне было рассказывать об этом печальном случае или о тайне этого несчастья? Быть может, Елена отомстила за отца? Ее ревность, без сомнения, была божьей карой. Но я содрогнулся, взглянув на мать. Какому страшному допросу подвергнет ее муж, вечный ее судья? И с нею будет неподкупный свидетель. В детстве чело светится, кожа на лице прозрачна, и ложь тогда подобна огню, от которого краснеют даже веки. Несчастная еще не думала о пытке, которая ждала ее дома. Она всматривалась в Бьевру.

Такое событие должно было с ужасающей силой отразиться на жизни женщины, и мы расскажем об одном из тех страшных его отзвуков, которые время от времени омрачали любовь Жюли.

Как-то вечером, два-три года спустя, у маркиза де Ванденеса, который в ту пору носил траур по отцу и был занят делами по наследству, сидел нотариус. То не был мелкий нотариус, персонаж

Стерна, а раздобревший и самодовольный парижский нотариус, один из тех всеми уважаемых и в меру глупых людей, которые грубо задевают незримые раны, а потом спрашивают, отчего это раздаются стенания. Если случайно они узнают, почему глупость их так убийственна, то говорят: «Ей-богу, я ровно ничего не знал». Словом, то был благонамеренный дурак, для которого в жизни не существовало ничего, кроме «нотариальных актов». Рядом с дипломатом сидела г-жа д'Эглемон. Не дождавшись конца обеда, генерал откланялся и повез своих детей на представление то ли в театр Амбигю-Комик, то ли в Тэте на Бульвары. Мелодрамы чрезмерно возбуждают чувства, однако в Париже считается, что они доступны и безвредны для детей, ибо в них всегда торжествует добродетель. Генерал уехал, не дождавшись десерта, потому что сыну и дочке его хотелось приехать в театр до поднятия занавеса и они не давали отцу покоя.

Нотариус, невозмутимый нотариус, которого ничуть не удивило, что г-жа д'Эглемон отправила детей и мужа в театр, а сама осталась, сидел на стуле как приклеенный. Возник какой-то спор, и десерт затянулся. А теперь слуги медлили с кофе. На все это, конечно, уходило драгоценное

время, и хорошенькая женщина не скрывала нетерпения; ее можно было бы сравнить с породистой лошадью, которая перед бегом бьет копытом землю. Нотариус не разбирался ни в лошадях, ни в женщинах, он просто-напросто думал, что маркиза — женщина живая и бойкая. Он был в восторге оттого, что находится в обществе великосветской дамы и высокопоставленного политического деятеля, и пытался поразить их своим остроумием; притворную улыбку маркизы, выходившей из себя, он принимал за одобрение и продолжал свою болтовню. Уже хозяин дома заодно со своей гостьей не раз позволил себе промолчать, в то время как нотариус ждал от него поощрения; не понимая значения этих красноречивых пауз, чудак, вперив взгляд в горящий камин, силился припомнить еще какую-нибудь занятную историю. Наконец дипломат прибегнул к помощи часов. Потом маркиза надела шляпу, словно собираясь уйти, однако все не уходила. Нотариус ничего не замечал, ничего не слышал. Он восхищался собой и был уверен, что маркиза не уходит оттого, что увлечена его рассказами.

«Уж эта дама наверняка будет моей клиенткой», — думал он.

Маркиза стоя натягивала перчатки, не щадя

пальцев, и поглядывала то на маркиза де Ванденеса, который разделял ее нетерпение, то на нотариуса, который вынашивал каждую свою остроту. Стоило только этому достойному человеку замолчать, как маркиза и де Ванденес облегченно вздыхали, обменивались знаками, словно говоря: «Ну, теперь-то он уйдет». Но не тут-то было. Им казалось, что это какой-то кошмар; в конце концов влюбленные, на которых нотариус действовал, как змея на птицу, потеряли самообладание, и Ванденес совершил неучтивый поступок. На самом захватывающем месте рассказа о гнусных проделках, путем которых разбогател известный делец, дю Типе, бывший в те времена в чести, о грязных его делишках, о которых высокоумный нотариус повествовал со всеми подробностями, дипломат услышал, что часы пробили девять; он понял, что нотариус безнадежно глуп, что его надобно без всяких церемоний выпроводить, и прервал его решительным жестом.

— Вам нужны щипцы, маркиз? — спросил нотариус, протягивая их своему клиенту.

— Нет, сударь, я вынужден попрощаться с вами. Госпожа д'Эглемон хочет поехать к своим детям, и я буду иметь честь сопровождать ее.

— Уже девять часов! Время бежит, как тень, когда беседуешь с людьми обходительными, — заметил нотариус, который уже целый час разглагольствовал один.

Он взял шляпу, затем встал у камина, еле сдерживая икоту, и обратился к клиенту, не замечая взглядов маркизы, метавших молнии:

— Подведем итоги, маркиз. Дело прежде всего. Завтра же пошлем вызов в суд вашему брату, предъявим ему свои требования; мы приступим к описи, а засим, честное слово…

Нотариус так плохо понял намерения клиента, что собирался повести дело как раз вопреки тем указаниям, которые тот только что дал ему. Это принимало такой оборот, что Ванденесу поневоле пришлось наставить на правильный путь своего тупого нотариуса; начался спор, который длился еще некоторое время.

— Послушайте, — сказал наконец дипломат по знаку молодой женщины, — мне это надоело, приходите завтра в девять часов вместе с моим поверенным.

— Имею честь обратить ваше внимание, маркиз, на то, что у нас нет уверенности, застанем ли мы завтра утром господина Дероша, а если вызов в суд не будет вручен до полудня, то срок

истечет, и тогда…

Тут во двор въехала карета; услышав шум колес, бедная женщина быстро отвернулась, чтобы скрыть слезы, выступившие у нее на глазах. Маркиз позвонил — он собирался сказать, что его ни для кого нет дома, но генерал, нежданно вернувшийся из театра, опередил лакея и вошел, ведя за руку недовольного, рассерженного сына и дочь, у которых были заплаканные глаза.

— Что случилось? — спросила г-жа д'Эглемон у мужа.

— Расскажу после, — ответил генерал, направляясь в соседний будуар, — дверь туда была открыта, и он заметил на столе в этой комнате газеты.

Маркиза, вне себя, с разочарованным видом опустилась на диван.

Нотариус, почитая своею обязанностью приласкать детей, спросил мальчика слащавым тоном:

— Ну как, миленький, что представляли в театре?

— «Долину потока», — буркнул Гюстав.

— Клянусь честью, — воскликнул нотариус, — писатели в наше время прямо какие-то полоумные! «Долина потока»! Почему не «Поток долины»? В долине может и не быть потока, а

сказав «Поток долины», авторы представили бы нечто четкое, определенное, характерное, вразумительное. Но оставим это. Далее: разве драма может разыграться в потоке или в долине? Мне возразят, что нынче гвоздь представлений — декорации, а название говорит за то, что декорации в этой пьесе отменные. Вам-то понравилось, дружок? — прибавил он, усаживаясь рядом с мальчиком.

Когда нотариус спросил, может ли драма разыграться на дне потока, дочь маркизы медленно отвернулась и заплакала. Мать была так раздосадована, что не обратила внимания на дочку.

— Ах да, сударь, очень понравилось, — ответил мальчик. — В пьесе показывают очень славного мальчика, у него нет никого на свете, потому что его папа не мог быть его папой. И вот когда он шел по мосту над рекой, какой-то страшный бородатый человек в черном сбросил его в воду. Тут сестрица заплакала, зарыдала, и все в зале закричали на нас, и папа нас поскорее, поскорее увел…

Господин де Ванденес и маркиза замерли, словно обессилев от какой-то страшной боли, которая сковала их, помешала им думать, действовать.

— Гюстав, да замолчи же! — крикнул гене-

рал. — Я ведь запретил тебе говорить о том, что произошло в театре, а ты уже забыл мои наставления.

— Соблаговолите извинить его, ваше превосходительство, — произнес нотариус, — зря я его расспрашивал. Но я ведь не знал, как это важно…

— Он не должен был отвечать, — сказал отец, холодно глядя на сына.

Причина внезапного возвращения отца с детьми стала понятна дипломату и маркизе. Мать посмотрела на дочь, увидела, что та вся в слезах, поднялась было, чтобы подойти к ней; но внезапно лицо ее передернулось, и на нем появилось суровое выражение, которое ничто не могло бы смягчить.

— Перестаньте, Елена, — обратилась она к дочке, — ступайте в будуар и успокойтесь.

— Чем же провинилась бедная крошка? — спросил нотариус, желая смягчить гнев матери и умерить слезы дочери. — Девочка прехорошенькая и, должно быть, умница. Я глубоко уверен, сударыня, что она доставляет вам только радости. Не правда ли, деточка?

Елена, дрожа, посмотрела на мать, вытерла слезы, постаралась придать спокойное выражение

лицу и убежала в будуар.

— И, уж конечно, сударыня, — разглагольствовал нотариус, — вы хорошая мать и любите своих детей одинаково. Кроме того, вы слишком добродетельны, чтобы предпочитать одного ребенка другому — пагубные последствия такого предпочтения раскрываются особенно перед нами, нотариусами. Все общество проходит через наши руки, поэтому-то мы бываем свидетелями страстей в самом омерзительном их проявлении: в *корысти.* То мать старается лишить наследства детей от законного мужа в пользу своих детей-любимчиков; а муж иной раз хочет передать все имущество ребенку, вызывающему ненависть матери. И пойдет тут кутерьма: запугивание, подложные документы, фиктивные продажи, передача наследства *подставному лицу* — словом, прегнусная неразбериха, по чести говорю, прегнусная! То отцы прожигают жизнь, лишая своих детей материнского наследства, потому что воруют имущество у жен… Да, именно *воруют,* так оно и есть. Мы тут говорили о драме. Э, уверяю вас, если бы мы могли раскрыть тайну иных дарственных записей, то наши писатели создали бы потрясающие трагедии из жизни буржуазных кругов. Просто не понимаю, что за

власть такая у женщин, ведь вертят всеми как им вздумается; хоть с виду они слабенькие, а перевес всегда на их стороне. Меня-то, однако, им ни за что не обмануть. Я-то всегда угадаю, что за причина скрывается за этакими предпочтениями, которые в свете из учтивости считают непостижимыми. А мужья, нужно прямо сказать, никогда не догадываются. Вы мне ответите, что бывают привязанности, склон…

Елена, выйдя с отцом из будуара, внимательно слушала нотариуса и так хорошо поняла его слова, что с испугом посмотрела на мать по-детски, инстинктивно предчувствуя, что событие это усугубит строгость, в которой ее держат. Маркиза побледнела и с ужасом указала Ванденесу на своего мужа, который задумчиво разглядывал цветы на ковре. Дипломат, невзирая на всю свою благовоспитанность, не мог сдержаться и бросил на нотариуса разъяренный взгляд.

— Пожалуйте сюда, сударь, — сказал он, быстро направляясь в соседнюю комнату.

Нотариус, не закончив фразы, умолк и в испуге пошел за ним.

— Сударь, — раздраженно сказал маркиз де Ванденес, изо всех сил захлопнув за собою дверь в гостиную, где оставались супруги, — с самого

обеда вы делаете одни лишь глупости и мелете вздор. Уходите, ради бога, иначе вы натворите уйму неприятностей. Может быть, вы и отличный нотариус, ну так и сидите в своей конторе; если же вам случается попасть в общество, старайтесь быть осмотрительнее…

И он вернулся в гостиную, даже не простившись с нотариусом. Тот был ошеломлен, сбит с толку, не понимал, что произошло. Когда шум в его ушах поутих, ему почудилось, что в гостиной кто-то стонет, что там какая-то суматоха, что кто-то нетерпеливо дергает за шнурки звонков. Ему стало страшно, что он снова увидит маркиза де Ванденеса, ноги сами понесли его, и он помчался к лестнице; у дверей он столкнулся со слугами — они спешили на зов хозяина.

«Вот каковы все эти знатные господа! — думал он, когда наконец очутился на улице и стал искать извозчика. — Они втягивают вас в разговор, поощряют вас, похваливают; вы воображаете, что позабавили их, — как бы не так! Они дерзят вам, указывают на расстояние, отделяющее вас от них, и, ничуть не стесняясь, выставляют вас за дверь. А ведь держался я тонко, все, что говорил, было толково, рассудительно, прилично. Он мне посоветовал быть осмотрительнее, да у меня, кля-

нусь честью, этого качества и так хватает. Ведь я, черт возьми, нотариус и член совета нашей коллегии. Ну, да что говорить, это просто прихоть господина посланника! Ничего святого нет у этих бар! Пусть он растолкует мне завтра, что за глупости я у него вытворял и какую плел околесицу. Я у него потребую объяснения, то есть попрошу мне объяснить, в чем тут дело. А впрочем, может быть, он и прав… Честное слово, зря я ломаю себе голову. Какое мне до всего этого дело?»

Нотариус вернулся домой и задал загадку своей супруге, рассказав ей о событиях того вечера.

— Мой дорогой Кротта, его сиятельство был прав, говоря, что ты делал глупости и молол вздор.

— Как так?

— Милый мой, если я и растолкую тебе, ты завтра же как ни в чем не бывало начнешь все снова. Только я еще раз советую тебе: в обществе беседуй только о делах.

— Не хочешь — не говори; я спрошу завтра у…

— Боже мой, дураки и те стараются скрывать подобные вещи, а посланник так тебе о них и расскажет! Эх, Кротта, до чего ж ты бестолков!

— Премного благодарен, дорогая!

V
Две встречи

Бывший адъютант Наполеона, которого мы будем называть просто маркизом или генералом, разбогатевший при Реставрации, приехал на рождество в Версаль, в свой загородный дом, стоявший между церковью и заставой Монтрей, на дороге, что ведет к улице Сен-Клу. Служба при дворе не позволяла ему уезжать далеко от Парижа.

При доме, некогда служившем убежищем для мимолетных любовных похождений какого-то знатного вельможи, было множество угодий. Вокруг раскинулись сады, и он приютился поодаль как от первых зданий Монтрей, расположенных справа и слева, так и от хижин, стоявших по соседству с заставой; поэтому владельцы дома не были отрезаны от внешнего мира, зато в двух шагах от города наслаждались сельской тишиной. По какой-то причуде фасад и подъезд выходили прямо на дорогу, которая некогда, по-видимому, была безлюдной. Предположение это вполне вероятно, если вспомнить, что приводит она к

прелестному дворцу, выстроенному Людовиком XV для мадемуазель де Роман, и что любопытные встречают по пути к нему немало особняков, где апартаменты и обстановка свидетельствуют о том, как утонченно кутили наши предки, и о том, что, невзирая на беспутство, в котором их обвиняют, они все же соблюдали тайну и стремились к уединению.

Как-то зимним вечером маркиз, его жена и дети сидели в гостиной. Слуг отпустили в Версаль: один из лакеев женился, и там справлялась свадьба; они решили, что празднование Рождества да такое событие в придачу — причина веская, что господа простят их, и без стеснения посвятили торжеству немного больше времени, чем то было дозволено домашним распорядком. Генерал слыл за человека, всегда выполняющего свое слово с безукоризненной честностью, и поэтому, когда прошло время, к которому надо было возвратиться, ослушников начали смущать угрызения совести. Однако пробило одиннадцать часов, а никто из слуг еще не вернулся. Царила глубокая тишина; порою было слышно, как ветер свистит в черных ветвях деревьев, как он завывает вокруг дома и с силой врывается в длинные коридоры. Земля стала твердой, мостовая обледе-

нела, морозный воздух был чист, и каждый звук разносился с сухой звонкостью — явление, всегда поражающее нас. Грузные шаги захмелевшего гуляки или грохот извозчика, возвращающегося в Париж, раздавались явственнее и слышались издалека — дальше, чем обычно. Опавшие листья, подхваченные налетевшим вихрем, шуршали, кружась, на каменных плитах двора, как бы придавая голос суровому безмолвию ночи. Словом, стоял один из тех студеных вечеров, которые вызывают у нашего себялюбия бесплодное сочувствие бесприютному бедняку или путнику и наполняют наш домашний очаг такою отрадой. Но семья, собравшаяся в гостиной, не думала ни о задержавшейся прислуге, ни о людях, лишенных крова, ни о сияющей красоте лунного вечера. Без неуместных рассуждений, полагаясь на старого воина, его жена и дети вкушали радости, которые порождает семейный уют, когда чувства не стеснены, когда привязанность и искренность оживляют беседу, игры и взгляды.

Генерал сидел, или, вернее, удобно расположился, в высоком, просторном кресле у камелька, где пылал огонь, распространявший живительное тепло, — признак того, что на улице очень холодно. Почтенный отец семейства, чуть скло-

нив голову и откинувшись на спинку кресла, застыл в той небрежной позе, которая говорит о безмятежном покое, о сладостной полноте счастья. Руки его лениво свесились, а на лице его выражалось полное блаженство. Он любовался младшим ребенком, мальчиком лет пяти; полуголый малыш не желал раздеваться и спасался бегством от ночной рубашки и чепчика, которыми мать порою грозила ему; на нем еще оставался вышитый воротничок, и когда мать звала маленького буяна, он заливался смехом, видя, что она и сама смеется над его непокорством; он снова принимался играть с сестрою, таким же невинным, но уже более смышленым существом, произносившим слова отчетливее, меж тем как забавный лепет и смутные мысли мальчугана были едва понятны родителям. Моина — она была старше брата на два года — смешила его своими выходками, в которых уже чувствовалась маленькая женщина; неумолчный и, казалось, беспричинный детский смех напоминал взрывы ракет, но, глядя, как малыши резвятся у огня и, не ведая стыда, выставляют напоказ свое хорошенькое, пухлое тельце, белую, нежную спинку, глядя, как смешиваются белокурые и черные кудри, как сталкиваются розовые личики, щеки

с милыми веселыми ямочками, отец, а особенно, разумеется, мать постигали эти маленькие души, и для родителей уже явны были их характеры и наклонности. Блестящие глаза, пылающие щеки, белоснежная кожа двух прелестных малюток были так ярки, что перед ними меркли цветы, вытканные на пушистом ковре — арене их шалостей, на которой они катались, боролись, падали, кувыркались. Мать их, сидя на диванчике у камина против мужа, среди разбросанной детской одежды, держала в руке красный башмачок, и видно было, что она ничего не может поделать с шалунами. Она не решалась прибегнуть к строгости, и ласковая улыбка не сходила с ее губ. Ей было лет тридцать шесть, но красота ее еще сохранилась благодаря редкостному совершенству черт, а от тепла, света и счастья она была в этот час необычайно хороша собою. Время от времени она переводила ласковый взгляд с детей на степенное лицо мужа; порою глаза их встречались, и они безмолвно делились радостью и сокровенными мыслями. Лицо генерала было покрыто загаром.

На его широкий и открытый лоб спадали пряди седеющих волос. Мужественный блеск голубых глаз, отвага, которою дышали все черты его по-

блекшего лица, говорили о том, что ленточку, алевшую в петлице его сюртука, он приобрел ценою тяжких трудов. Сейчас невинное веселье детей отражалось на этом суровом, решительном лице, и оно светилось простодушной добротой. Старый воин сам невольно превращался в младенца. Вообще солдаты, которым довелось испытать много бед, любят детей, потому что понимают, как жалка сила и сколько преимуществ у слабости. Поодаль за круглым столом, освещенным висячей лампой, яркий свет которой состязался с бледным пламенем свечей, стоявших на камине, сидел подросток лет тринадцати и читал толстую книгу, быстро переворачивая страницы. Он не обращал никакого внимания на крики брата и сестры; на лице его отражались отроческая любознательность и полное забвение всего окружающего, которое оправдывалось увлекательной фантастикой «Тысячи и одной ночи» и мундиром лицеиста. Он сидел неподвижно, с задумчивым видом, положив локоть на стол и подперев голову рукою, и пальцы его белели на темных волосах. Свет падал на его лицо, а вся фигура тонула в тени, и он напоминал темные автопортреты Рафаэля, где художник, склонившись, сосредоточенно размышляет о будущем.

Между столом и креслом маркизы за пяльцами сидела, то опуская, то поднимая голову над вышиванием, красивая, рослая девушка с тщательно приглаженными, блестящими волосами цвета воронова крыла. От Елены нельзя было отвести глаза. Ее редкостная красота была отмечена силою и изяществом. Волосы, уложенные венцом вокруг головы, отливали шелком при каждом ее движении и были так пышны, что, не слушаясь гребня, выбивались тугими завитками на затылке, у самой шеи.

Густые брови правильного рисунка резко оттеняли белизну чистого лба. Над верхней губой ее слегка темнел пушок — признак сильной воли: греческий носик был изысканно правильной формы. Но пленительная округлость стана, чистосердечность, которою дышали все черты ее, легкий румянец, томная нежность губ, совершенство овала лица и, главное, непорочность взгляда придавали ее могучей красоте женственную прелесть и ту обворожительную скромность, которую требуем мы от этих ангелов мира и любви. Однако в девушке не было никакой хрупкости, да и сердце ее, вероятно, было кротким, а душа сильной, под стать великолепным пропорциям ее тела и неотразимому очарованию лица. Она мол-

чала, как и ее брат-лицеист, и, казалось, была во власти тех неизбежных девичьих грез, которые часто ускользают не только от наблюдательного отцовского взгляда, но и от прозорливого взгляда матери; и нельзя было понять, от игры ли света или от тайных волнений набегают на ее лицо своенравные тени, подобные легким облачкам на чистой лазури небес.

В этот час родители совсем забыли о своих старших детях. Однако не раз генерал окидывал пристальным взглядом немую сцену второго плана, которая являла собою прелестное воплощение надежд, реявших в шумных детских играх этой семейной картины. Все эти фигуры, рисуя человеческую жизнь в незаметной ее постепенности, как бы представляли собою живую поэму. Роскошь убранства гостиной, живописные позы, красивая пестрота в сочетании цветных тканей, выразительные лица, озаренные ярким светом и столь различные по чертам и возрасту, — все это создавало яркую картину, каких мы требуем от скульпторов, художников, писателей. Наконец, тишина, зима, уединение и ночь наделяли своим величием эту дивную безыскусственную композицию, дар самой природы. В семейной жизни бывают священные часы, неизъяснимая

прелесть которых, быть может, обязана смутным воспоминаниям о лучшем мире. Часы эти озарены небесными лучами, они словно посланы человеку в вознаграждение за многие горести и для примирения его с жизнью; как будто здесь, перед нами, сама вселенная указывает великие принципы порядка, как будто здесь общество, показывая нам будущее, выступает защитником созданных им законов.

Однако, невзирая на ласковые взгляды, которые Елена бросала на Абеля и Моину, когда раздавались взрывы их смеха, невзирая на счастливое выражение, которое появлялось на ясном лице ее, когда она украдкой любовалась отцом, глубокая печаль чувствовалась во всех ее движениях, во всем ее облике и особенно в глазах, опушенных длинными ресницами. Ее белые, сильные руки вздрагивали; кожа на них просвечивала, и это придавало им прозрачность и еле уловимый розоватый оттенок. Всего лишь раз ее глаза и глаза маркизы невзначай встретились, и женщины поняли друг друга: холоден, непроницаем, почтителен был взгляд Елены; мрачен и угрожающ — взгляд маркизы. Елена поспешно опустила глаза на пяльцы, в ее руках мелькнула игла, и она долго не поднимала головы,

словно ей стало трудно держать ее прямо. Быть может, мать чересчур строго относилась к ней, считая такую строгость полезной? Или маркиза завидовала красоте Елены, с которой еще могла соперничать, но лишь прибегая к ухищрениям наряда? Или дочь разгадала — как это бывает со многими дочерьми, когда они делаются проницательными, — тайны матери, с виду ревностно выполняющей свои обязанности и думающей, что эти тайны погребены в глубине ее сердца, как в могиле?

Елена вступила в тот возраст, когда нравственная чистота порождает суровую требовательность к себе, переходящую границы, в которых должны пребывать чувства. В глазах иных людей их собственные ошибки превращаются в преступления; тогда воображение воздействует на разум; часто в таких случаях девушки все преувеличивают и ждут жестокой кары за свой проступок, соразмерно тому значению, которое они придают ему. Елена, очевидно, считала, что она не достойна ни одного человека на свете. Тайна в прошлом, быть может, несчастный случай, сначала неосознанный и только позже понятый ею благодаря впечатлительности и под влиянием религиозных воззрений, с недавних

пор начал внушать ей чувство какого-то романтического самоуничижения. Она стала вести себя совсем иначе с того дня, когда прочла в сборнике иностранных пьес новый перевод прекрасной трагедии Шиллера «Вильгельм Телль». Маркиза, попрекнув дочь за то, что она уронила книгу, заметила, как пьеса потрясла Елену, особенно та сцена, в которой поэт установил некое сходство между Вильгельмом Теллем, пролившим человеческую кровь во имя спасения народа, и Иоганном Паррицидой. Елена стала смиренной, благочестивой, замкнутой, отказывалась выезжать в свет. Никогда еще не была она так нежна с отцом, особенно если маркиза не видела, как она ластится к нему. Любовь Елены к матери охладела, но было это почти неуловимо, и маркиз, должно быть, ничего не замечал, хотя и зорко следил за тем, чтобы в семье царило согласие. Человеческий взгляд недостаточно прозорлив, нельзя было проникнуть в тайники двух этих женских сердец: одного — юного и великодушного, другого — чувствительного и гордого; первое было кладезем снисходительности; второе — преисполнено лукавства и страсти. Скрытая материнская властность тяготила дочь, но это ощущалось лишь самою жертвой. Впрочем,

только случай мог пролить некоторый свет на эти неразрешимые загадки. До этой ночи ничто не разоблачало эти две души; но, без сомнения, какая-то жуткая тайна лежала между ними и Богом.

— Ну, перестань, Абель! — воскликнула маркиза, воспользовавшись тем, что Моина с братом, устав, замолкли и притихли. — Иди сюда, мой мальчик, пора спать…

И, строго взглянув на сына, она усадила его к себе на колени.

— Как, уже половина одиннадцатого, а слуг все нет и нет? Ну и гуляки! — заметил генерал. — Гюстав, — прибавил он, обернувшись к сыну, — я дал тебе книгу с условием, что ты кончишь читать ровно в десять; ты должен был сам закрыть ее в назначенный час и отправиться спать, так ты мне обещал. Если ты хочешь стать незаурядным человеком, данное тобою слово должно быть для тебя свято, ты обязан хранить его, как свою честь. У Фокса, одного из виднейших ораторов Англии, был стойкий характер. Главным его достоинством была верность принятым на себя обязательствам. Когда он был маленьким, его отец, англичанин старого закала, преподал ему строгий урок, который навсегда запечатлелся

в памяти Фокса. В твоем возрасте он приезжал на каникулы к отцу, вокруг замка которого, как водится у богатых англичан, был разбит большой парк. В парке стояла старинная беседка; ее намеревались разобрать и перенести в другое место, откуда превосходный вид. Детям всегда очень нравится смотреть на разрушения. Мальчику хотелось на несколько дней продлить каникулы и посмотреть, как будут сносить беседку, но отец потребовал, чтобы он вернулся в колледж в назначенный день, к началу учения; отец с сыном из-за этого поссорились. Мать, как все мамаши, стала на сторону мальчика. Тогда отец торжественно обещал сыну отложить разборку беседки до следующих каникул. Фокс вернулся в колледж. Отец решил, что мальчик, отвлеченный занятиями, забудет обо всем, и приказал разрушить беседку и перенести ее на другое место. Но мальчик был упрям и думал только об этом. Приехав домой, он первым делом отправился посмотреть на старую беседку; к завтраку он пришел вне себя от огорчения и сказал отцу: «Вы меня обманули». Почтенный джентльмен ответил смущенно, но с достоинством: «Верно, сын мой; но я исправлю свою ошибку. Надобно блюсти свое слово крепче, чем богатство; ибо тот, кто держит слово, будет

богат, а никакие богатства не сотрут пятна на совести, если нарушишь слово». Старик велел перенести беседку на прежнее место, а когда это было исполнено, приказал ее разрушить на глазах сына. Пусть это будет тебе уроком, Гюстав.

Гюстав внимательно выслушал отца и тотчас же закрыл книгу. Наступило молчание; генерал поднял Моину, боровшуюся со сном, и усадил ее к себе на колени. Головка девочки поникла, припала к отцовской груди, и Моина уснула, укутанная, как плащом, своими чудесными золотистыми кудрями. В этот миг с улицы донеслись чьи-то торопливые шаги, и три удара в дверь отдались эхом во всем доме. Гулкие удары были красноречивы, как красноречив вопль человека, которому грозит смертельная опасность. Сторожевая собака яростно залаяла. Елена, Гюстав, генерал и его жена вздрогнули, но спящий Абель, которому мать осторожно расчесывала волосы, и Мои-на не проснулись.

— Вот ведь некогда человеку! — воскликнул генерал, укладывая дочь в кресло.

Он стремительно вышел из гостиной, не слыша, как жена умоляет его:

— Не ходи, друг мой!..

Маркиз вбежал в спальню, схватил два пи-

столета, засветил потайной фонарь, бросился к лестнице и, спустившись с быстротою молнии, вмиг очутился у парадной двери; за ним бесстрашно последовал его сын.

— Кто там? — спросил генерал.

— Отворите! — ответил кто-то, тяжело дыша.

— Вы друг?

— Друг.

— Вы один?

— Один… Да откройте же, *они* подходят!

Не успел генерал приотворить дверь, как кто-то со сказочной быстротой, словно тень, проскользнул в переднюю, маркиз был захвачен врасплох, и незнакомец ногой захлопнул дверь, а затем налег на створку спиной, видимо, решив никого не впускать. Генерал быстро направил пистолет на грудь незнакомца и осветил его фонарем; он увидел человека среднего роста, в меховой стариковской шубе, которая волочилась по земле и была ему широка, как будто ее сняли с чужого плеча. Из осторожности ли, случайно ли, но лоб беглеца прикрывала шляпа, надвинутая на самые глаза.

— Сударь, — обратился он к генералу, — уберите пистолет. Я не собираюсь оставаться здесь без вашего согласия; но знайте: если я выйду, у заста-

вы меня ждет смерть! И какая смерть! За нее вы ответите перед Богом. Я прошу гостеприимства на два часа. Однако, сударь, хоть я и проситель, необходимость вынуждает меня ставить условия. Мне надобно аравийское гостеприимство: пусть оно будет для вас священным, иначе отворите дверь, и я пойду на смерть. Мне нужна тайна, приют и вода. Ох, воды! — повторил он хриплым голосом.

— Кто вы такой? — спросил генерал, пораженный лихорадочной быстротой речи незнакомца.

— Вот как — «кто я такой»? Что ж, отворяйте дверь, и я уйду, — отвечал незнакомец с какою-то дьявольской усмешкой.

Маркиз во все стороны водил фонарем, чтобы осветить незнакомца, но ему удалось разглядеть только нижнюю часть его лица, и ничто не говорило в пользу того необычайного гостеприимства, которого требовал беглец: бледные щеки его подергивались, и все черты были искажены. В тени, отброшенной полями шляпы, сверкали глаза, и перед их блеском, казалось, бледнел тусклый свет фонаря. Однако генерал должен был дать ответ.

— Сударь, — сказал он, — ваши слова столь удивительны, что и вы на моем месте…

— Жизнь моя в ваших руках! — воскликнул незнакомец, перебивая хозяина, голос его был страшен.

— На два часа? — нерешительно произнес генерал.

— На два часа! — подтвердил беглец.

И вдруг в порыве отчаяния он сорвал с себя шляпу, обнажил лоб и, словно делая последнюю попытку, устремил на генерала горящие, живые глаза, взор которых проникал в самую душу. Взор этот излучал мысль и волю, вспыхивал молнией и поражал, как гром; ведь в иные минуты люди обладают необъяснимой властью.

— Проходите, и кто бы вы ни были, здесь вы в безопасности, — проговорил хозяин, и ему показалось, что он подчиняется одному из тех внутренних побуждений, в которых человек не всегда может дать себе отчет.

— Да вознаградит вас Бог! — воскликнул незнакомец, облегченно вздохнув.

— Оружие у вас есть? — спросил генерал.

Вместо ответа неизвестный проворно распахнул шубу, но не успел маркиз рассмотреть его, как он снова закутался. Оружия не было видно, и одет он был так, словно явился прямо с бала. Хоть и вскользь оглядел его недоверчивый генерал, он

увидел достаточно и воскликнул:

— Черт возьми, где это вы умудрились так промокнуть, ведь погода сухая?

— Опять вопросы! — высокомерно ответил незнакомец.

Тут маркиз заметил сына и вспомнил об уроке, который только что преподал ему о том, как нерушимо надо держать данное слово; это его раздосадовало, и он в сердцах сказал:

— Ах ты, упрямец этакий! Ты все еще здесь, а не в постели?

— Я думал, что пригожусь вам в случае опасности, — ответил Гюстав.

— Ну, ступай к себе в комнату, — промолвил генерал, смягчившись от такого ответа. — А вы, — обратился он к незнакомцу, — следуйте за мной!

Они замолчали, как два игрока, не доверяющие друг другу. У генерала появились какие-то мрачные предчувствия. Присутствие незнакомца тяготило его, как дурной сон; но, верный своему слову, он провел его по коридорам и лестницам в большую комнату, расположенную на третьем этаже как раз над гостиной. Эта нежилая комната зимой служила сушильней и не сообщалась с другими покоями; ее выцветшие стены украшало лишь никуда не годное зеркало, забытое

на камине прежними владельцами, да большое трюмо, для которого не нашлось места, когда размещали мебель маркиза; оно было на время поставлено тут против камина. Пол в этой огромной мансарде никогда не подметался, здесь стоял ледяной холод и не было никакой обстановки, кроме двух стульев с продранными соломенными сиденьями. Генерал поставил фонарь на камин и обратился к неизвестному:

— Эта пустая мансарда будет вашим убежищем — тут всего безопаснее. Я дал вам слово, что сохраню тайну, поэтому разрешите мне вас запереть.

Незнакомец склонил голову в знак согласия.

— Я просил лишь приюта, тайны и воды, — заметил он.

— Воду я сейчас принесу, — ответил маркиз и, тщательно заперев дверь, ощупью спустился в залу, чтобы взять свечу и пойти в буфетную за графином.

— Что случилось? — с живостью спросила маркиза у мужа.

— Ничего, дорогая, — холодно ответил он.

— Но ведь мы хорошо слышали, что вы кого-то провели наверх…

— Елена, — сказал генерал, глядя на дочь, которая вскинула на него глаза, — знайте, что честь

вашего отца зависит от вашей выдержки. Вы ничего не слышали.

Девушка в ответ выразительно кивнула головой. Маркиза была озадачена и уязвлена тем, что муж косвенным образом велел ей замолчать. Генерал пошел за графином и стаканом и вернулся в комнату, где был заперт его пленник; незнакомец стоял возле камина, прислонившись к стене, с непокрытой головой; шляпу он бросил на стул. Он, вероятно, не ожидал, что его увидят при таком ярком освещении; когда его взгляд встретился с пронизывающим взглядом генерала, на его лице появилось угрюмое выражение; но он тотчас же смягчился и, любезно улыбнувшись, поблагодарил своего покровителя. Генерал поставил стакан и графин с водой на камин, и неизвестный, еще раз бросив на него горящий взгляд, прервал молчание.

— Сударь, — тихо сказал он, и голос его уже не прерывали спазмы, хотя он все еще выдавал внутреннее волнение, — я, конечно, кажусь вам странным. Извините меня за причуды, но они вызваны необходимостью. Если вы останетесь здесь, то я прошу вас, не смотрите на меня, когда я стану пить.

Маркиза раздражало, что он вынужден все

время повиноваться человеку, который не нравится ему, и он резко повернулся к нему спиной. Незнакомец выхватил из кармана белый носовой платок, обернул им правую руку; затем взял графин и залпом выпил всю воду. Маркиз, вовсе не помышляя нарушить свое безмолвное обещание, нечаянно взглянул в трюмо; благодаря расположению зеркал он отлично увидел незнакомца и заметил, что платок сразу стал красным, потому что беглец прикоснулся к нему окровавленными руками.

— А, вы посмотрели на меня! — воскликнул незнакомец, когда, выпив воду и запахнувшись в шубу, он опасливо взглянул на генерала. — Я погиб! *Они* идут, вот *они!*

— Я ничего не слышу, — сказал генерал.

— Вам нет нужды, как мне, прислушиваться.

— Вы в крови, уж не дрались ли вы на дуэли? — спросил генерал, встревоженный цветом пятен, которые расползлись по одежде его гостя.

— Вот именно, на дуэли, — подтвердил незнакомец, и его губы тронула желчная усмешка.

В этот миг издали послышался топот копыт: несколько лошадей неслись галопом; но звуки эти были слабы, как первые проблески зари. Привычное ухо генерала уловило, что скачут

вымуштрованные кавалерийские лошади.

— Это жандармы, — произнес он.

Он взглянул на своего пленника так, словно хотел рассеять сомнения, которые, вероятно, внушил ему своей невольной нескромностью, взял свечу и спустился в гостиную. Не успел он положить ключ от верхней комнаты на камин, как топот конницы стал явственнее; она приближалась к особняку с такой быстротой, что генерал вздрогнул. И действительно, лошади остановились у подъезда. Один из всадников, обменявшись несколькими словами с товарищами, соскочил и так громко постучался, что генералу пришлось отворить дверь. Он не мог совладать с тайным волнением, увидев шесть жандармов в шапках с серебряными галунами, блестевшими при лунном свете.

— Ваша светлость, — обратился к нему бригадир, — вы не слышали, не пробежал ли сейчас к заставе человек?

— К заставе? Нет, не слышал.

— Вы никому не отпирали двери?

— Вы что же, думаете, что я всегда сам отпираю двери?

— Прошу извинить, ваше превосходительство, но мне показалось…

— Это еще что за шутки! — сердито крикнул маркиз. — Как вы смеете?..

— Не извольте гневаться, ваша светлость, — смиренно продолжал бригадир. — Извините нас за старание. Мы отлично знаем, что пэр Франции не станет впускать в свой дом убийцу, но мы хотим получить некоторые сведения…

— Убийцу! — воскликнул генерал. — И кого же он?..

— Сейчас зарубили топором барона де Мони, — подхватил жандарм. — Но за убийцей снарядили погоню. Мы уверены, что он где-нибудь тут, неподалёку, и устроим облаву. Прошу прощения, ваше превосходительство.

Говоря это, жандарм уже вскочил на лошадь и, к счастью, не мог видеть лица генерала. Бригадир привык строить всевозможные предположения, и, взгляни он на это открытое лицо, где так ясно отражались все движения души, он мог бы что-нибудь заподозрить.

— А кто убийца, известно? — спросил генерал.

— Нет, — отвечал всадник. — В конторке были банковые билеты и золото, но они не тронуты.

— Значит, это месть, — заметил генерал.

— Да что вы — старику-то? Нет, грабителю просто помешали.

И жандарм поскакал вдогонку за своими спутниками, которые были уже далеко. Генерал не мог опомниться, и это вполне понятно. Вскоре он услышал, что возвращаются его слуги; они о чем-то с жаром рассуждали, голоса их доносились с перекрестка Монтрей. Когда они пришли, генерал, которому надо было излить свой гнев, обрушился на них. От громовых раскатов его голоса содрогался весь дом. Но генерал тотчас же утих, когда камердинер, самый смелый и находчивый из его слуг, объяснил, что они опоздали потому, что у самого Монтрей их задержали жандармы и агенты полиции, которые разыскивают какого-то убийцу. Маркиз замолчал. Слова эти напомнили ему, к чему его обязывает создавшееся нелепое положение; он сухо приказал слугам немедленно же ложиться спать, а они были до крайности удивлены, что генерал так легко поверил выдумке своего камердинера.

Но пока во дворе разыгрывались эти события, случай, как будто маловажный, изменил положение участников этой драмы. Едва маркиз вышел, как жена его, бросавшая взгляды то на ключ от мансарды, то на Елену, в конце концов наклонилась к дочери и произнесла вполголоса:

— Елена, отец оставил ключ на камине.

Девушка подняла голову и робко взглянула на мать, глаза которой загорелись от любопытства.

— Так что же, маменька? — смущенно спросила она.

— Мне бы хотелось знать, что происходит наверху. Там никто даже не шелохнется. Сходи-ка туда…

— Сходить туда? — испуганно переспросила девушка.

— Ты боишься?

— Нет, маменька, но мне послышались там мужские шаги.

— Если б я могла пойти сама, Елена, то не стала бы просить вас об этом, — высокомерно продолжала мать. — Если отец вернется и не застанет меня, он, пожалуй, спросит, где я, а вашего отсутствия он не заметит.

— Если вы мне велите, я пойду; но я потеряю уважение отца…

— Ах вот что! — насмешливо промолвила маркиза. — Вы приняли шутку всерьез, так теперь я приказываю вам пойти и посмотреть, что делается наверху. Вот ключ, Елена!.. Отец потребовал, чтобы вы молчали о том, что сейчас происходит в доме, но он вовсе не запрещал вам заглянуть в ту комнату. Ступайте и помните, что дочь не имеет

права судить свою мать.

Произнеся последние слова со всей строгостью оскорбленной матери, маркиза взяла ключ и передала его Елене; та молча встала и вышла из гостиной.

«Мать всегда сумеет добиться у него прощения; а я, я-то погублю себя в его глазах! Уж не хочет ли она, чтобы отец разлюбил меня, не хочет ли выжить меня из дому?»

Такие мысли мелькали в ее уме, пока она шла по темному коридору, в конце которого была дверь потайной комнаты. Когда она подошла к ней, в смятении мыслей ее было что-то роковое. От этих смутных размышлений хлынули через край чувства, до сих пор затаенные в ее сердце. Она, вероятно, и так уже не надеялась на счастливое будущее, в этот же страшный миг она совсем отчаялась; она дрожала, поднося ключ к замочной скважине, и ее волнение было так велико, что ей пришлось с минуту постоять, приложив руку к сердцу, будто она могла успокоить его сильные и звучные толчки.

Наконец она отперла дверь. Скрип петель, по-видимому, не привлек внимания убийцы. Он был так углублен в свои мысли, что, невзирая на тонкий слух, стоял неподвижно, прислонившись

к стене, словно был пригвожден к ней. Его чуть озарял светлый круг, отброшенный фонарем, и в этой полутьме он походил на сумрачные статуи рыцарей, стоящие по углам мрачных усыпальниц в готический часовнях. Капли холодного пота выступили на его смуглом высоком лбу. Удивительной отвагой дышали эти черты, искаженные страданием. Горящие, неподвижные и сухие глаза, казалось, наблюдали битву, происходящую перед ним в темноте; вихрь мятежных мыслей отражался на его лице, а твердое и решительное выражение говорило о возвышенной душе. Стан незнакомца, поза, сложение были под стать его бунтарской душе. Человек этот, полный какой-то дикой, могучей силы, пристально смотрел во мрак, словно предвидя свое будущее. Генерал, привыкший к мужественным лицам выдающихся людей, окружавших Наполеона, и занятый больше мыслью о том, что представляет собою душа этого странного гостя, не обратил внимания на его удивительную наружность; но Елена, на которую, как на всех женщин, производило сильное впечатление все внешнее, была потрясена игрою света и тени, поэтическим хаосом, величием и страстностью лица, которые придавали незнакомцу сходство с Люцифером,

воспрянувшим после падения.

Внезапно буря, омрачавшая его лицо, утихла как по волшебству, и неизъяснимая, властная сила, олицетворением которой, быть может, помимо своей воли, был этот человек, захватила его с быстротою наводнения. Поток мыслей внутренним светом залил его лоб, морщины разгладились. И девушка, *завороженная* то ли необычайной встречею, то ли тайной, которой она коснулась, теперь могла любоваться его приятным, привлекательным лицом. Она простояла несколько мгновений молча, словно очарованная, во власти волнений, доселе неведомых ее молодой душе. Но скоро, потому ли, что у Елены вырвалось восклицание или жест, или потому, что убийца из мира грез вернулся в мир действительный и услышал чье-то дыхание, он повернул голову и, едва различив в полумраке прекрасное лицо и величавый стан девушки, должно быть, принял эту неподвижную фигуру за ангела, за призрачное видение.

— Сударь… — промолвила Елена дрожащим голосом.

Убийца вздрогнул.

— Женщина? — негромко воскликнул он. — Да возможно ли это! Покиньте меня, — произнес

он. — Я ни за кем не признаю права жалеть меня, прощать или осуждать. Я должен жить один. Ступайте, дитя мое, — прибавил он с величественным жестом, — плохо отблагодарю я хозяина этого дома, если позволю кому-нибудь из его домочадцев дышать одним со мной воздухом. Я вынужден подчиниться законам света.

Последняя фраза была произнесена еле слышно. С редкостным своим умением предвидеть он постиг все несчастья, которые возвещает эта печальная истина, и, бросив на Елену пронизывающий взгляд, всколыхнул в голове необыкновенной девушки целый мир мыслей, еще дремавших в ней. То был свет, как бы озаривший еще неведомые ей страницы жизни. Ее душа была подавлена, покорена, она не находила в себе сил, не могла защититься от магнетической власти взгляда, даже невольно брошенного на нее. Она была в смятении и, дрожа, выбежала из комнаты. Она вернулась в гостиную всего лишь за минуту до возвращения отца и ничего не успела рассказать матери.

Генерал был озабочен; скрестив руки, он молча и мерно шагал от окон, выходивших на улицу, к окнам, из которых виден был сад. На руках его жены лежал уснувший Абель. Моина безмятежно

спала в кресле, как птичка в гнездышке. Старшая дочь не сводила глаз с огня; в одной руке у нее был клубок шелковых ниток, в другой — иголка. В гостиной, во всем доме и на улице царила глубокая тишина, и ее нарушали только неторопливые шаги слуг, расходившихся на покой; слышались взрывы приглушенного смеха — то были последние отзвуки веселой свадебной пирушки; да еще хлопали двери, когда слуги отворяли их, переговариваясь, и потом затворяли вновь. Из комнат, где они укладывались спать, доносился глухой шум. Упал стул. Чуть слышно раздался кашель старого кучера и смолк. И вскоре настала суровая тишина, в которую погружается полуночной порою заснувшая природа. Во мраке блестели одни лишь звезды. Холод сковал землю. Все молчало, все было недвижно. Только потрескивали дрова в камине, словно для того, чтобы люди, сидевшие в гостиной, почувствовали всю глубину безмолвия ночи. Часы в Монтрей пробили час. В это время на лестнице послышались легкие шаги. Маркиз и его дочь, уверенные, что убийца г-на де Мони заперт, решили, что идет кто-нибудь из служанок, и не обратили внимания на то, что отворились двери из соседней комнаты. И вдруг появился убийца. Ужас, охвативший маркиза,

живое любопытство его жены и изумление дочери позволили незнакомцу беспрепятственно дойти почти до середины гостиной, и он сказал генералу спокойным и на редкость приятным голосом:

— Сударь, два часа на исходе.

— Вы здесь! — воскликнул генерал. — Каким чудом?..

Он грозно и вопрошающе посмотрел на жену и детей. Елена вспыхнула.

— Вы, вы среди нас! — продолжал генерал взволнованным голосом. — Убийца, обагренный кровью, — здесь! Вы оскверняете эту комнату! Прочь! Прочь отсюда! — яростно добавил он.

При слове «убийца» у маркизы вырвался вопль. Лицо же Елены — а слово это, очевидно, решило ее судьбу — не выразило ни малейшего удивления. Казалось, она давно ждала этого человека. Все, о чем она так много думала, теперь приобрело смысл! Кара небесная, которая суждена была за ее проступок, разразилась. Она считала себя преступницей, такой же, как этот человек, и смотрела на него ясным взглядом: она его подруга, его сестра. Она видела во всем этом волю божию. Прошло бы несколько лет, и ее рассудок справился бы с муками совести, но сейчас она

была в каком-то исступлении. Незнакомец стоял неподвижно и был невозмутим. Презрительная усмешка скользнула по его лицу, тронула полные алые губы.

— Я благородно поступаю по отношению к вам, но вы этого не цените, — тихо произнес он. — Я не хотел прикасаться рукою к стакану, из которого я пил, когда меня томила жажда. Я даже не хотел обмыть свои окровавленные руки под вашей кровлей; я ухожу, оставив от моего «преступления» (при этих словах его губы сжались) одно лишь воспоминание, ибо я старался пройти так, чтобы здесь от него не сохранилось ни малейшего следа. Я не допустил, чтобы ваша дочь…

— Моя дочь! — воскликнул генерал, с ужасом посмотрев на Елену. — Вон отсюда, негодяй, или я убью тебя!

— Два часа еще не истекли. Вы не можете ни убить меня, ни выгнать, не потеряв уважения к самому себе… и моего уважения.

Тут ошеломленный генерал попытался смерить взглядом преступника, но принужден был опустить глаза: он чувствовал, что не в силах выдержать взор незнакомца, нестерпимо блестящий взор, вторично смутивший его душу. Он испугался, что снова смягчится, так как сознавал,

что воля его слабеет.

— Убить старика! Вы, должно быть, и понятия не имеете о том, что такое семья? — проговорил он, с отеческой нежностью указывая на жену и детей.

— Да, старика, — повторил незнакомец, нахмурив брови.

— Бегите! — крикнул генерал, не смея взглянуть на непрошеного гостя. — Наш договор нарушен. Я не предам вас. Нет! Я никогда не стану поставлять людей на эшафот. Но уходите, вы нам гадки.

— Я знаю, — покорно ответил преступник. — Во Франции нет ни клочка земли, куда бы я мог ступить с безопасностью для себя; но если бы правосудие, подобно Богу, судило всякого по его деяниям, ежели бы оно соблаговолило расследовать, кто чудовище — убийца или его жертва, я бы мог с гордостью остаться среди людей. Вам ли не знать преступлений человека, которого только что обезглавили! Я стал судьей и палачом, я заменил собою беспомощное человеческое правосудие. Вот в чем мое преступление. Прощайте, сударь. Ваше гостеприимство было отравлено для меня, тем не менее я не забуду о нем. Я сохраню в душе чувство благодарности к одному-единственному человеку на свете, и этот человек — вы… Но

мне хотелось, чтобы вы были великодушнее.

Он направился к двери. В этот миг Елена наклонилась к матери и что-то шепнула ей на ухо.

— Ах, замолчи!..

Возглас этот вырвался из груди маркизы, и генерал, услыхав его, вздрогнул так, словно увидел, что Моина умерла. Елена встала, и убийца невольно обернулся; по его лицу было видно, что он тревожится за эту семью.

— Что с вами, дорогая? — спросил маркиз у жены.

— Елена хочет бежать с ним, — сказала она.

Убийца покраснел.

— Маменька неверно объясняет вырвавшиеся у меня слова, — тихо произнесла Елена. — Ну что ж, я осуществлю ее желание.

Девушка окинула всех горделивым, пожалуй, даже ожесточенным взглядом и потупилась; поза ее была полна скромности.

— Елена, — спросил генерал, — вы ходили в комнату, куда я поместил…

— Да, отец.

— Елена, — проговорил он, и голос его изменился от внутренней дрожи, — вы впервые видите этого человека?

— Да, отец.

— В таком случае ваше намерение совершенно нелепо…

— Пусть нелепо, но я решилась…

— Ах, дочь моя!.. — произнесла маркиза негромко, но так, чтобы муж услышал ее. — Елена, вы идете наперекор правилам чести, скромности, добродетели, которые я старалась внушить вам. Если мы до этого рокового часа обманывались в вас, то вы недостойны и сожаления. Ведь не нравственное же совершенство этого незнакомца пленило вас? Или вас влечет сила, которая надобна лишь преступникам?.. Нет-нет, я хорошо вас знаю и не могу предположить…

— О! Предполагайте все, что вам угодно, — холодно заметила Елена.

Но, несмотря на твердость характера, которую Елена проявила в этот час, нелегко было пламени, горевшему в ее глазах, осушить набежавшие слезы. Увидев слезы девушки, незнакомец понял, о чем говорит мать; он бросил на маркизу орлиный взор, и какая-то непреодолимая власть заставила ее взглянуть на страшного соблазнителя. Но, когда глаза ее встретились с ясными и блестящими глазами незнакомца, она вздрогнула — так вздрагиваем мы, увидев змею или прикоснувшись к лейденской банке.

— Друг мой, — крикнула она мужу, — это дьявол! Он разгадывает все.

Генерал вскочил, собираясь схватить шнурок от звонка.

— Он вас погубит, — сказала Елена убийце.

Незнакомец усмехнулся, сделал шаг, отвел руку маркиза, устремив на него свой пристальный взгляд, от которого все цепенели, и генерал потерял почву под ногами.

— Я отплачу вам за ваше гостеприимство, — промолвил убийца, — и мы сочтемся. Я избавлю вас от позора и выдам себя сам. Ну зачем мне теперь жить?

— Вы еще можете раскаяться, — ответила Елена, глядя на него с тою надеждой, которая светится лишь в глазах юных девушек.

— Раскаиваться я никогда не стану, — ответил убийца звучным голосом, гордо вскинув голову.

— Его руки запятнаны кровью, — сказал Елене отец.

— Я оботру их, — ответила она.

— Но вы даже не знаете, нужны ли вы ему, — возразил генерал, не осмеливаясь указать на неизвестного.

Убийца приблизился к Елене; ее прекрасное лицо, целомудренное и строгое, было освещено

внутренним светом, отблески которого озаряли и как бы выделяли каждую черту и самые тонкие линии; бросив на прекрасную девушку нежный взгляд, огонь которого еще вселял ужас, он взволнованно сказал:

— Из любви к вам и из желания отблагодарить вашего отца за два часа жизни я отказываюсь от вашего самопожертвования.

— И вы тоже отталкиваете меня! — воскликнула Елена голосом, раздирающим сердце. — Прощайте же все, я умру!

— Что все это означает? — закричали отец и мать в один голос.

Девушка не проронила ни слова и, посмотрев на маркизу вопрошающим выразительным взглядом, опустила глаза. С той минуты, как генерал и его жена попытались воспротивиться словами и действием странному вторжению незнакомца в их семейный круг, и с той минуты, как он устремил на них какой-то ошеломляющий взгляд, оба они впали в необъяснимое оцепенение, и их онемевший рассудок не мог отразить сверхъестественную власть, которая их подчинила. Они чувствовали, что им не хватает воздуха, они задыхались, но не могли обвинить в этом того, кто так угнетал их, хотя внутренний голос

подсказывал им, что именно в этом человеке, в этом чародее таится причина их безволия. Генерал, чувствуя упадок духа, понял, что он должен собрать все силы и образумить дочь: он обнял Елену и отошел с нею к окну, подальше от убийцы.

— Дорогая моя девочка, — вполголоса сказал он, — если какая-то необыкновенная любовь вдруг родилась в твоем сердце, то вся жизнь твоя, чистота твоих помыслов, твоя невинная и набожная душа доказали мне, что у тебя стойкий характер, и я думаю, что силы у тебя довольно, чтобы не поддаться минутному безумию. Значит, в поведении твоем кроется тайна. Так вот, мое сердце полно отеческой снисходительности, доверься ему, и если ты даже ранишь его, я заглушу свои страдания, я никому не расскажу о твоей исповеди. Послушай, может быть, ты ревнуешь нас к своим братьям, к сестрице? Что с тобой? Любовь ли смутила твою душу или ты несчастлива дома? Скажи мне, что заставляет тебя оставить нас, покинуть семью, лишить ее того, что всего в ней милее, бросить мать, братьев, сестру?

— Папенька, — ответила она, — я не ревную, я ни в кого не влюблена, даже в вашего друга, господина де Ванденеса.

Маркиза побледнела, и дочь, наблюдавшая за нею, умолкла.

— Но ведь мне рано или поздно придется покинуть вас и жить под покровительством мужа.

— Ты права.

— Разве мы знаем тех, с кем связываем свою судьбу? А в этого человека я верю.

— Дитя, — заметил генерал, повышая голос, — ты не представляешь себе страданий, которые ждут тебя.

— Я думаю о его страданиях.

— Что за жизнь предстоит тебе! — промолвил отец.

— Жизнь женщины, — прошептала дочь.

— Вот как! Откуда у вас такая осведомленность? — воскликнула маркиза, обретая дар слова.

— Сударыня, вопрос подсказывает мне, как ответить. Извольте, я буду говорить яснее…

— Говорите все, дитя мое!.. Ведь я мать.

Тут дочь взглянула на маркизу, и этот взгляд заставил мать умолкнуть.

— Елена, я стерплю все ваши упреки, если вы найдете причину для упреков, только бы не видеть, что вы последуете за человеком, от которого все бегут с ужасом.

— Вы сами понимаете, сударыня, что без меня он будет совсем одинок.

— Довольно! — крикнул генерал. — Отныне у нас только одна дочь.

И он взглянул на спавшую Моину.

— Я вас заточу в монастырь, — прибавил он, повернувшись к Елене.

— Воля ваша, отец, — ответила она с спокойствием отчаяния. — Тогда я умру. Вы держите ответ за мою жизнь и за *его* душу только перед Господом Богом.

Наступило тяжелое молчание; по обычным представлениям светских людей, сцена эта была позорной, и они не решались посмотреть друг другу в глаза. Тут маркиз заметил свои пистолеты, схватил первый попавшийся, взвел курок и навел дуло на неизвестного. Обернувшись на шум, незнакомец спокойно и пристально посмотрел на генерала, рука которого, дрогнув от непреодолимой слабости, тяжело опустилась и выронила пистолет.

— Дочь моя, — сказал тогда отец, изнемогая от этой страшной борьбы, — вы свободны. Поцелуйте свою мать, если она согласится на это. Я же больше не хочу вас видеть, не хочу слышать вас…

— Елена, — обратилась мать к девушке, — подумайте, ведь вы станете нищей!

Хриплый стон вырвался из широкой груди убийцы и привлек к нему все взгляды. На его лице было написано презрение.

— Гостеприимство, которое я вам оказал, обходится мне дорого! — воскликнул генерал, вставая. — Вы убили не одного старика, вы убиваете целую семью. Что бы там ни было, а этот дом погрузится в безысходную печаль.

— А если ваша дочь будет счастлива? — спросил убийца, пристально смотря на генерала.

— Если она будет счастлива с вами, — ответил отец, делая невероятное усилие над собой, — я не буду горевать о ней.

Елена, робея, опустилась на колени перед отцом и ласково сказала ему:

— Отец, я люблю вас и почитаю, станут ли мне напутствием сокровища вашей доброты или суровая немилость… И я заклинаю вас, пусть последние слова ваши не будут внушены гневом.

Генерал не решался посмотреть на дочь. В этот миг к ним подошел незнакомец и, улыбаясь Елене улыбкой, в которой было что-то и демоническое и небесное, сказал:

— Ангел милосердия, которого не страшит

убийца, нам пора уходить, раз вы твердо решили вручить мне свою судьбу.

— Нет, это непостижимо! — воскликнул отец.

Маркиза бросила на дочь какой-то странный взгляд и протянула к ней руки. Елена, рыдая, бросилась в ее раскрытые объятия.

— Прощайте, маменька, прощайте! — повторяла она.

Елена смело кивнула незнакомцу, и он вздрогнул. Она поцеловала руку отцу, торопливо, без нежности поцеловала Моину и маленького Абеля и исчезла вслед за убийцей.

— Куда они пошли? — закричал генерал, прислушиваясь к шагам беглецов. — Сударыня, — обратился он к жене, — да не сон ли это? Тут скрывается какая-то тайна. Вы, должно быть, знаете ее.

Маркиза затрепетала.

— С некоторых пор, — отвечала она, — Елена сделалась до крайности романтична и восторженна. Хоть я и старалась побороть эту склонность ее характера…

— Это не совсем понятно…

Но генералу послышалось, будто в саду раздаются шаги дочери и незнакомца, он замолчал и быстро растворил окно.

— Елена! — крикнул он.

Его голос потерялся во мраке ночи, словно напрасное пророчество.

Произнося это имя, на которое некому уже было отозваться, генерал, словно по мановению волшебного жезла, нарушил чары, владевшие им, как дьявольское наваждение. По лицу его было видно, что он вдруг опомнился. Он ясно представил себе сцену, которая только что разыгралась, он начал проклинать свою непостижимую слабость. Кровь горячей волной хлынула от его сердца к голове, к ногам; он пришел в себя, он стал страшен, его охватила жажда мести, и он крикнул громовым голосом:

— На помощь! На помощь!

Он бросился к шнуркам звонков, рванул их, оборвал, и необычайный перезвон разнесся по всему дому. Слуги сразу проснулись. А он все кричал, он распахнул окна на улицу, стал звать жандармов, схватил пистолеты и начал стрелять, чтобы поторопить конную полицию, чтобы скорее поднять на ноги слуг, всполошить соседей. Собаки узнали голос хозяина и залились лаем, лошади заржали и стали бить землю копытами. Поднялся оглушительный шум, нарушивший ночную тишину. Сбегая по лестнице в погоне

за дочерью, генерал увидел, что со всех сторон спешат перепуганные слуги.

— Мою дочь… Елену… похитили! Скорее в сад… охраняйте улицу!.. Откройте ворота жандармам! Все за убийцей!

И с силой, порожденной яростью, он разорвал цепь, которой был привязан огромный сторожевой пес.

— Елена! Елена! — твердил он, наклоняясь к нему.

Собака прыгнула, словно лев, свирепо залаяла и так стремительно ринулась в сад, что генерал не мог ее догнать. В это время послышался конский топот, по улице неслись лошади: генерал сам бросился открывать ворота.

— Бригадир, — крикнул он, — преградите путь убийце господина де Мони, он уходит через мои сады! Немедленно окружите дороги к Пикардийским холмам. Я прикажу устроить облаву во всех владениях, парках, домах… А вы, — обратился он к слугам, — вы подстерегайте его на улице, караульте дорогу от заставы до Версаля. Вперед! Все, как один!

Он схватил ружье, которое ему принес из комнаты камердинер, и кинулся в сад, крикнув собаке:

— Ищи!

В ответ издалека донесся страшный лай, и генерал поспешил в ту сторону, где, как ему показалось, лаяла собака.

В семь часов утра поиски жандармов, генерала, всех слуг и соседей еще ни к чему не привели.

Собака не вернулась. Маркиз, измученный и постаревший от горя, вошел в дом, который стал пустым для него, хотя там было еще трое детей.

— Вы были очень холодны с дочерью, — произнес он, глядя на жену. — Вот все, что от нее осталось! — добавил он, показывая на пяльцы, где виднелся цветок в начатой вышивке. — Еще недавно она была здесь, а сейчас она погибла… погибла!

И он зарыдал, закрыв лицо руками, застыл в молчании, не в силах более смотреть на эту гостиную, недавно еще являвшую собою пленительную картину семейного счастья. Отблески зари состязались с гаснущими лампами; вокруг догоравших свечей вспыхнули бумажные розетки; все вторило отчаянию отца.

— Это надобно уничтожить, — сказал он после минутного молчания, показывая на пяльцы. — Выше сил моих смотреть на то, что связано с воспоминанием о ней.

Та страшная рождественская ночь, когда маркиза и его жену постигло несчастье, когда они потеряли старшую дочь, потому что не могли противиться непонятной власти невольного ее похитителя, была как бы предвестием, посланным судьбою. Маркиз был разорен банкротством своего биржевого маклера. Он заложил недвижимое имущество жены, чтобы попытать счастья в какой-то спекуляции и, нажившись на ней, восстановить прежнее благосостояние; но предприятие это разорило его вконец. Он готов был в отчаянии пойти на все и покинул отечество. Шесть лет прошло со дня его отъезда. Семья редко получала от него известия, но незадолго до того, как Испания признала независимость южноамериканских республик, он известил о своем возвращении.

Итак, в одно прекрасное утро несколько французов-негоциантов, спешивших поскорее вернуться на родину с богатством, приобретенным ценою долгих стараний и опасных путешествий в Мексику или Колумбию, плыли на испанском бриге в нескольких лье от Бордо. Человек, которого больше состарили жизненные тяготы и горе, нежели время, стоял, прислонившись к защитному заслону, и, казалось, не обращал

ни малейшего внимания на картину, которая раскинулась перед глазами пассажиров, собравшихся на верхней палубе. Опасности далекого морского пути миновали, и путешественники, привлеченные отличной погодой, поднялись на палубу, чтобы приветствовать родную землю.

Почти всем во что бы то ни стало хотелось увидеть еще издали маяки, гасконские дома, Кордуанскую башню, которые терялись в причудливых очертаниях облаков, белевших на горизонте. Если бы не серебристая бахрома, вившаяся перед бригом, если бы не длинная борозда, быстро таявшая позади него, путешественникам казалось бы, что судно стоит недвижимо посреди океана, — так он был безмятежен. Чистое небо было восхитительно. Густая синева небосвода незаметно бледнела, сливаясь с голубоватой водою, и там, где они соединялись, ослепительно, будто звезды, блестела линия горизонта. Солнечные лучи искрились в бесчисленных гранях волн на необозримом водном пространстве, и ширь морская сверкала, пожалуй, ярче небесной тверди. Приятный теплый ветерок надувал паруса на бриге; и эти снежно-белые полотнища, и желтые развевавшиеся флаги, и целый лабиринт снастей четко рисовались в воздухе на лучезарном

фоне неба и океана и лишь тени, отбрасываемые парусами, меняли их оттенки. Чудесный день, попутный ветер, родные берега, спокойное море, шум волн, навевавший сладостную грусть, красивый бриг, одиноко скользивший по океану, словно женщина, торопящаяся на свидание, — все это было картиной, преисполненной гармонии; душа человеческая, воспаряя над плывущим судном, могла объять незыблемые пространства.

Удивительно было здесь противопоставление одиночества — кипучей жизни, тишины — шуму, и никто бы не мог сказать, где начинается жизнь и шум, где — небытие и тишина; и человеческий голос не нарушал этих божественных чар. Испанца-капитана и матросов-французов охватил какой-то благоговейный восторг, все навевало на них воспоминания.

В воздухе разлилась истома. Лица сияли радостью, минувшие горести были преданы забвению, а волны тихо баюкали людей, словно в дивном сне. Однако старик пассажир, прислонившийся к защитному заслону, то и дело тревожно поглядывал на горизонт. Во всех чертах его сквозило какое-то недоверие к судьбе, и, казалось, он боялся, что ему еще не скоро удастся вступить на

французскую землю. Это был маркиз д'Эглемон. Счастье не осталось глухо к его мольбам, к его усилиям. Пять лет провел он в поисках, в тяжелых трудах и сделался обладателем крупного состояния. Ему так хотелось вновь увидеть родину и осчастливить семью, что он последовал примеру нескольких французских негоциантов из Гаваны и сел с ними на испанский бриг, отправлявшийся в Бордо. Воображение его, утомленное вечным предвидением горя, теперь рисовало ему прекрасные картины минувшего счастья. Он издали заметил бурую полоску земли, и ему уже чудилось, что он видит жену и детей. Он уже был дома, у своего очага, в ласковом кругу близких. Он представлял себе Моину — она похорошела, выросла, в ней появилось что-то степенное, как у взрослой девушки.

Когда эта воображаемая картина словно воплотилась для него в действительность, слезы покатились из глаз его, и, чтобы скрыть волнение, он посмотрел на горизонт, в сторону, противоположную той, где виднелась туманная полоска, возвещавшая землю.

— Опять *он!* — промолвил маркиз. — Так и идет следом за нами!

— Что там такое? — спросил капитан.

— Корабль, — вполголоса ответил генерал.

— Я еще вчера его приметил, — сказал капитан Гомес.

И, значительно посмотрев на генерала, он шепнул ему на ухо:

— Он гонится за нами.

— Не понимаю, отчего же он до сих пор не настиг нас, — заметил старый воин, — ведь он обмачтован получше вашего проклятого «Святого Фердинанда».

— Какие-нибудь помехи, — пробоина, может быть…

— Он нас догоняет! — крикнул генерал.

— Это колумбийский корсар, — сказал ему на ухо капитан. — Мы находимся в шести лье от земли, а ветер слабеет.

— Он не идет, а летит, будто знает, что часа через два жертва выскользнет из рук. Ну и смельчак!

— Это он! — вскричал капитан. — Да, не зря зовется он «Отелло». Недавно он потопил испанский фрегат, а ведь у самого-то пушек тридцать, не больше! Его одного я и боялся, я знал, что он крейсирует у Антильских островов. Эге, ветер крепчает, — продолжал он, помолчав и наблюдая за парусами своего корабля. — Доберемся! Иначе

нельзя. Парижанин неумолим.

— Он тоже добирается, — ответил маркиз.

«Отелло» был приблизительно в трех лье. Хотя экипаж и не слышал, о чем говорил маркиз с капитаном Гомесом, появление парусника привлекло всеобщее внимание; почти все матросы и пассажиры подошли к тому месту, где стояли собеседники; большинство приняло бриг за коммерческое судно, и все с любопытством смотрели, как он приближается, но вдруг какой-то матрос крикнул на своем образном языке:

— Святой Иаков! Всем нам крышка, это сам Парижанин!

При этом грозном имени ужас охватил бриг, смятение воцарилось неописуемое. По приказу капитана матросы мгновенно принялись за дело: под угрозой опасности, стремясь во что бы то ни стало достигнуть берега, Гомес распорядился поднять на корабле все высокие и низкие лисели, чтобы ветер надувал поверхности всех парусов, натянутых на реях. С огромным трудом удалось произвести этот маневр; разумеется, не хватало того поразительного единства в действиях, которое так восхищает на военном судне. «Отелло» летел, словно ласточка, паруса его были установлены по ветру, но казалось, что прошел он

все же немного, и несчастные путешественники почувствовали сладостную надежду. Вдруг в то мгновение, когда после неслыханных усилий «Святой Фердинанд» ускорил ход благодаря искусным маневрам, в которых принимал участие сам Гомес, показывая всем, как надо действовать, и давая указания, рулевой, конечно, не без умысла, сделал неправильный поворот и поставил бриг бортом против ветра. Под ударами бокового ветра паруса так сильно «заполоскались», что «отняли» у судна ветер; лисель-сприты сломались, и корабль «отказал». Капитан был взбешен и стал белее паруса; одним прыжком бросился он к рулевому и занес над ним кинжал с такой яростью, что промахнулся, но все же столкнул матроса в море: затем он схватил руль и попытался возместить урон, нанесенный его испытанному, бывалому судну. Слезы отчаяния стояли в глазах его, ибо предательство, угрожающее плодам наших трудов, причиняет нам более глубокое горе, нежели неминуемая смерть. Но чем больше сыпал капитан проклятиями, тем хуже двигалось дело. Он сам выстрелил из сигнальной пушки, надеясь, что выстрел услышат на берегу. В тот же миг корсарское судно, которое приближалось с неимоверной быстротой, ответило выстрелом из

пушки, и ядро не долетело до «Святого Фердинанда» лишь туазов на десять.

— Черт возьми! — крикнул генерал. — Ловкий прицел! И пушки у них особенные.

— Ну, раз он заговорил с вами, значит, помалкивайте!.. — заметил какой-то матрос. — Парижанину нечего бояться и английского корабля…

— Все кончено! — безнадежно воскликнул капитан, наводя подзорную трубу на берег. — Мы еще дальше от Франции, чем я предполагал.

— Зачем отчаиваться? — воскликнул генерал. — Все ваши пассажиры — французы, они зафрахтовали ваше судно. Вы говорите, что корсар этот — уроженец Парижа? Так поднимите же белый флаг, и…

— И он пустит нас ко дну, — ответил капитан. — Он ни перед чем не остановится, лишь бы завладеть богатой добычей.

— Ну, если это пират…

— Пират? — сердито сказал матрос. — Э, все у него узаконено, он-то знает, что делает.

— Так покоримся же своей участи! — воскликнул генерал, поднимая глаза к небу.

У него достало сил сдержать слезы.

Не успел он вымолвить эти слова, как раздался второй пушечный выстрел; ядро, пущенное более

метко, попало в корпус «Святого Фердинанда» и пробило его.

— Лечь в дрейф! — приказал удрученный капитан.

Матрос, защищавший честь Парижанина, стал очень искусно помогать выполнению маневра, вызванного беспомощным положением судна. Прошло смертельно тягостных полчаса. Экипаж находился в глубоком унынии. «Святой Фердинанд» вез четыре миллиона пиастров, составлявшие богатства пяти пассажиров и богатство генерала — миллион сто тысяч франков. На «Отелло», который теперь был в десяти ружейных выстрелах, уже отчетливо виднелись грозные жерла дюжины пушек, готовых открыть огонь. Казалось, ветер, посланный самим дьяволом, подгонял корабль; но взгляд искушенного моряка легко угадывал, чем объясняется эта быстрота, — стоило лишь присмотреться к стремительному ходу брига, к его продолговатому, узкому корпусу, к высокому рангоуту, к тому, как скроены паруса, как превосходна, как легка вся оснастка, с каким проворством, с какой слаженностью, будто один человек, действует весь экипаж, ставя по ветру белую стену парусов. Стройное деревянное сооружение, казалось, дышало уверенностью в своей

силе, было проворно и понятливо, как боевой конь или хищная птица. Матросы на корсарском корабле двигались безмолвно и готовы были в случае сопротивления уничтожить утлое торговое суденышко, которое, к счастью для себя, присмирело и напоминало провинившегося школьника, застигнутого учителем.

— У нас ведь есть пушки! — закричал генерал, сжимая руку капитана.

Испанец бросил на старого воина взор, полный мужества и отчаяния, и промолвил:

— А люди где?

Маркиз оглядел экипаж «Святого Фердинанда» и содрогнулся. Все четыре купца были бледны и тряслись от страха, а матросы собрались в кружок и, очевидно, сговаривались о том, как бы перейти на сторону «Отелло»; они смотрели на корабль корсара с жадным любопытством. Только боцман, капитан и маркиз, глядя прямо в глаза друг другу, обменивались мыслями, полными благородства.

— Да, капитан Гомес, я давным-давно расстался со своей страной и семьей, и сердце мое было сражено горем! Неужели мне суждено проститься с ними навеки в тот самый миг, когда я несу радость и счастье своим детям?

Генерал отвернулся, и, когда гневные его слезы упали в море, он заметил, что рулевой вплавь достиг корсарского судна.

— На этот раз, — ответил капитан, — вы, конечно, проститесь с ними навсегда.

Моряка испугал безумный взгляд француза. В это время оба судна стали почти борт к борту. Генерал, увидев экипаж вражеского брига, поверил жуткому предсказанию Гомеса. По три человека стояло у каждого орудия. Пушкарей можно было принять за бронзовые статуи, так атлетически были они сложены, так застыли их лица, так мускулисты были их обнаженные руки. Смерть, поразив этих силачей, не сбила бы их с ног. Хорошо вооруженные, деятельные, ловкие и крепкие матросы стояли неподвижно. Их мужественные лица загорели на солнце, огрубели от непогоды. Глаза их горели, в них светились отвага и сметливость, злобное торжество. Глубокое молчание корсаров, столпившихся на палубе, свидетельствовало о строжайшей дисциплине, благодаря которой чья-то несокрушимая воля усмиряет этих злых духов, принявших человеческий образ. Главарь стоял у грот-мачты, скрестив руки; он был без оружия, лишь топор лежал у его ног. Голову его защищала от солнца широкополая

войлочная шляпа, и тень от нее скрывала лицо. Солдаты, пушкари и матросы, напоминавшие собак, лежавших у ног хозяина, переводили взгляд со своего капитана на торговое судно. Когда бриг подошел к бригу, толчок вывел корсара из задумчивости, и он шепнул что-то своему молодому помощнику, стоявшему в двух шагах от него.

— На абордаж! — крикнул молодой корсар.

И «Отелло» с поразительною быстротой взял на абордаж «Святого Фердинанда». Корсар негромко отдавал приказания, его помощник повторял их, и люди — а каждому заранее были известны его обязанности — преспокойно отправились на палубу захваченного корабля, словно семинаристы к обедне, и, связав руки матросам и пассажирам, захватили добычу. Они мигом перетащили на палубу «Отелло» бочки, наполненные пиастрами и съестными припасами, и весь экипаж «Святого Фердинанда». Когда корсары, связав генералу руки, швырнули его на какой-то тюк, словно он сам был вещью, ему почудилось, что все это он видит во сне. Корсар, его помощник и один из матросов, очевидно, исполнявший обязанности боцмана, стали совещаться. Говорили они недолго, потом матрос свистнул; по его приказу все корсары перескочили на борт «Святого Ферди-

нанда», вскарабкались на мачты и принялись обдирать паруса и снасти с такою быстротою, с какою солдат на поле брани раздевает убитого, позарившись на его сапоги и шинель.

— Пришла наша погибель, — спокойно сказал маркизу испанец, следивший взглядом за жестами трех главарей, пока они совещались, и за движениями матросов, старательно разбиравших оснастку брига.

— Отчего вы так думаете? — спокойно спросил генерал.

— А вы полагаете, что они будут с нами церемониться? — ответил испанец. — Они, по всей вероятности, сейчас решили, что нелегко будет сбыть «Святого Фердинанда» во французских или испанских портах, и решили потопить его, чтобы не возиться. Ну а нас… уж не воображаете ли вы, что они возьмут на себя обузу и будут нас кормить, когда сами не знают, к какому порту пристать?

Не успел капитан произнести эти слова, как генерал услышал душераздирающие вопли и глухой плеск, будто в воду упало несколько человек. Он обернулся — четырех негоциантов как не бывало.

И когда генерал с ужасом взглянул на восьмер-

ку свирепых пушкарей, то увидел, что руки у них еще подняты.

— Ну что? Я говорил вам, — бесстрастно вымолвил испанец.

Маркиз порывисто вскочил; море уже успокоилось, и он даже не мог различить того места, где его несчастные спутники пошли ко дну; сейчас они, связанные по рукам и ногам, бились под водою, а может быть, их уже пожирали рыбы. В нескольких шагах от него изменник-рулевой и матрос со «Святого Фердинанда», превозносивший и до того могущество Парижанина, по-приятельски разговаривали с корсарами и указывали пальцем на тех моряков с брига, которых считали достойными экипажа «Отелло»; двое юнг уже связывали ноги остальным матросам, не обращая внимания на их страшные проклятия. С отбором было покончено, восемь пушкарей схватили приговоренных и, не вдаваясь в излишние разговоры, швырнули за борт. Корсары с каким-то злобным любопытством наблюдали за тем, как люди падали в воду, за их искаженными чертами, за последними муками; у самих корсаров лица не выражали ни насмешки, ни удивления, ни жалости. Для них, очевидно, это было самое обыкновенное, привычное дело. Пожилых гораздо

больше занимали бочки с пиастрами, стоявшие у основания грот-мачты, и они смотрели на эти бочки с какою-то мрачной, застывшей усмешкой. Капитан Гомес и генерал сидели на тюке и, как бы советуясь друг с другом, обменивались горестными взглядами. Вскоре оказалось, что из всего экипажа «Святого Фердинанда» лишь они оставлены в живых. Семеро матросов, выбранных среди испанских моряков двумя предателями, уже с радостью превратились в перуанцев.

— Что за мерзавцы! — вдруг крикнул генерал; честность и благородное негодование заглушили в нем и горе и осторожность.

— Они подчиняются необходимости, — хладнокровно заметил Гомес. — Ежели бы вам попался кто-нибудь из этих молодчиков, ведь вы бы проткнули его шпагой.

— Капитан, — проговорил молодой корсар, обернувшись к испанцу, — Парижанин слышал о вас, вы единственный человек, говорит он, который хорошо знает проливы Антильских островов и берега Бразилии. Не хотите ли…

Капитан перебил его презрительным возгласом.

— Я умру, как подобает моряку, испанцу, христианину… понял?

— В воду! — крикнул молодой человек.

Два пушкаря, услышав приказ, схватили Гомеса.

— Вы подлые трусы! — закричал генерал, пытаясь удержать корсаров.

— Эй, старина, — сказал ему помощник Парижанина, — не кипятись! Хоть твоя красная ленточка и производит некоторое впечатление на капитана, но мне-то на нее плевать… Сейчас мы с тобою тоже потолкуем.

В этот миг генерал услышал глухой шум, к которому не примешалось ни одного стона, и он понял, что отважный капитан Гомес умер как подобает моряку.

— Или верните мне богатства, или убейте меня! — закричал он в порыве ярости.

— Э, да вы весьма благоразумны! — насмешливо ответил корсар. — Теперь-то вы наверняка чего-нибудь от нас добьетесь…

Тут по знаку корсара двое матросов кинулись связывать ноги французу, но он неожиданно и смело отбросил напавших; ему удалось — никто не мог предвидеть этого — выхватить саблю, висевшую на боку у корсара, и он стал ловко размахивать ею, как и следует бывалому кавалеристу, знающему свое дело.

— Эй, разбойники! Не смахнуть вам в море, как устрицу, старого наполеоновского солдата!

Выстрелы из пистолетов, наведенных почти в упор на неподатливого француза, привлекли внимание Парижанина, который наблюдал за тем, как переносят по его приказанию снасти со «Святого Фердинанда». С невозмутимым видом он подошел со спины к храброму генералу, схватил его, быстро приподнял и потащил к борту, собираясь швырнуть его в воду, как швыряют отбросы. И тут взгляд генерала встретился с хищным взглядом человека, обольстившего его дочь. Оба сразу узнали друг друга. Капитан тотчас повернул в сторону, противоположную той, куда он направлялся, будто ноша его была невесомой, и не сбросил генерала в море, а поставил возле грот-мачты. Послышался ропот, но Парижанин окинул подчиненных взглядом, и тотчас воцарилось глубокое молчание.

— Это — отец Елены, — четко и твердо сказал он. — Горе тому, кто посмеет отнестись к нему непочтительно.

Ликующее «ура» прозвучало на палубе и вознеслось в небо, словно молитва в храме, словно начальные слова «Te Deum». Юнги качались на снастях, матросы бросали вверх шапки, пушкари

топали ногами; толпа корсаров бесновалась, выла, свистела, вопила. Что-то исступленное было в этом ликовании, и встревоженный генерал помрачнел. Он приписывал все это какой-то ужасной тайне и, как только к нему вернулся дар речи, спросил: «А где же моя дочь?» Корсар бросил на него глубокий взгляд, который лишал самообладания даже самых отважных, и генерал умолк, к превеликой радости матросов, польщенных тем, что власть их главаря простирается на всех; затем он повел генерала вниз, спустился с ним по лестнице, проводил его до какой-то каюты и, быстро распахнув дверь, сказал:

— Вот она.

Он исчез, а старый воин замер при виде картины, представшей его глазам. Елена, услышав, что кто-то поспешно открывает дверь, поднялась с дивана, на котором она отдыхала, и, увидев маркиза, удивленно вскрикнула. Она так изменилась, что узнать ее мог лишь отец. Под тучами тропического солнца ее бледное лицо стало смуглым, и от этого в нем появилась какая-то восточная прелесть; все черты ее дышали благородством, величавым спокойствием, глубиною чувства, что, должно быть, трогало даже самые грубые души. Длинные густые волосы ниспадали

крупными локонами на плечи и грудь, поражавшие чистотою линий, и придавали что-то властное ее гордому лицу. В позе, в движениях Елены чувствовалось, что она сознает свою силу. Торжество удовлетворенного самолюбия чуть раздувало ее розовые ноздри, и ее цветущая красота говорила о безмятежном счастье. Что-то пленительно-девичье сочеталось в ней с горделивостью, свойственной женщинам, которых любят. Она, раба и владычица, хотела повиноваться, ибо могла повелевать. Она была окружена великолепием, полным изящества. Платье ее было сшито из индийского муслина, без всяких вычур, зато диван и подушки были покрыты кашемиром, зато пол просторной каюты был устлан персидским ковром, зато четверо детей, играя у ног ее, строили причудливые замки из жемчужных ожерелий, из бесценных безделушек, из самоцветов. В севрских фарфоровых вазах, разрисованных г-жою Жакото, благоухали редкостные цветы — мексиканские жасмины, камелии; среди них порхали ручные птички, вывезенные из Южной Америки, и они казались крылатыми сапфирами и рубинами — живыми золотыми слитками. В этой гостиной стоял рояль — он был прикреплен к полу, а на деревянных

стенах, затянутых алым шелком, тут и там висели небольшие полотна известных мастеров: «Заход солнца» Гюдена виднелся рядом с Терборхом; «Мадонна» Рафаэля соперничала в поэтичности с эскизом Жироде; полотно Герарда Доу затмевало картину кисти Дроллинга. На китайском лакированном столике поблескивала золотая тарелка с сочными плодами. Казалось, что Елена — королева обширной страны и что коронованный возлюбленный собрал для ее будуара самые изящные вещи со всего земного шара. Дети устремили на своего деда умный и живой взгляд; они привыкли жить среди сражений, бурь и тревог и напоминали маленьких римлян, жаждущих войны и крови, с картины Давида «Брут».

— Неужели это вы! — воскликнула Елена, крепко схватив отца за руку, словно хотела убедиться, что видение это — явь.

— Елена!

— Отец!

Они бросились в объятия друг друга, и трудно сказать, чьи объятия были горячее и сердечнее.

— Вы были на том корабле?

— Да, — ответил он, с удрученным видом опускаясь на диван и глядя на детей, которые обступили его и рассматривали с наивным вни-

манием. — Я бы погиб, если бы не…

— Мой муж, — промолвила она, прерывая его, — я догадываюсь.

— Ах, Елена, — воскликнул генерал, — зачем мы встретились при таких обстоятельствах, ведь я так тебя оплакивал! Как буду я скорбеть о твоей участи!..

— Почему? — спросила она, улыбаясь. — Вы должны радоваться: я самая счастливая женщина на свете.

— Счастливая? — воскликнул он, чуть не подскочив от изумления.

— Да, добрый мой папенька, — промолвила Елена; схватив его руки, она то осыпала их поцелуями, то прижимала к своему трепещущему сердцу и, ласково склонившись к отцу, не сводила с него блестящих глаз, ставших еще выразительнее от радостного волнения.

— Как же так? — спросил старик; ему хотелось узнать о жизни дочери, и он забыл обо всем, глядя на ее сияющее лицо.

— Послушайте, отец, — ответила она, — моим супругом, возлюбленным, слугою и властелином стал человек, душа которого беспредельна, как море, не ведающее границ, любовь которого необъятна, как небо. Да, это сам бог. За семь лет

ничто — ни слово, ни движение, ни чувство — не нарушало дивную гармонию его речей, нежности и любви. Когда он смотрит на меня, доверчивая улыбка играет на его губах, в глазах светится радость. Там, наверху, громовой голос его порою заглушает вой бури или шум сражений; но здесь голос его кроток и мелодичен, как музыка Россини, которая так трогает меня. Любая моя женская прихоть исполняется. Зачастую желания мои бывают даже превзойдены. Я царствую на море, и мне повинуются, как королеве. Счастлива! — заметила она, прерывая себя. — Да разве этим словом передашь, как я счастлива! Мне достались все сокровища любви, какие только выпадают на долю женщины. Любить, быть беспредельно преданной тому, кого любишь, и встречать в его сердце неиссякаемое чувство, в котором словно тает женская душа, полюбить навеки — скажите, разве это всего лишь счастье? Я уже прожила тысячу жизней. Здесь я царю, здесь я повелеваю. Ни одна женщина, кроме меня, не ступала на этот корабль, и Виктор всегда в нескольких шагах от меня. Ему не уйти дальше кормы или носа, — продолжала она с лукавым выражением. — Семь лет! Любовь, выдержавшая семь лет нескончаемой радости, ежеминутного испытания — это больше

чем любовь! Да, да! Лучше этого не найти ничего на свете. На языке человеческом не выразить небесного блаженства!

Слезы полились из ее горящих глаз. Четверо детей жалобно закричали, бросились к ней, как цыплята к наседке, а старший ударил генерала, не сводя с него сердитого взгляда.

— Абель, — промолвила она, — ангел мой, я плачу от радости.

Она посадила его на колени, и ребенок обнимал ее царственную шею, ластился к матери, как львенок, играющий с львицею.

— А не случается тебе скучать? — спросил генерал, ошеломленный восторженным ответом дочери.

— Случается, — ответила она. — Когда мы бываем на суше. Да и там я еще никогда не расставалась с мужем.

— Но ведь ты любила празднества, балы, музыку?

— Музыка — это *его* голос; празднества — это наряды, которые я придумываю, чтобы нравиться ему. А если ему по вкусу мой убор, то мне кажется, будто мной восхищается весь мир. Поэтому я и не бросаю в море все эти бриллианты, ожерелья, диадемы, усыпанные драгоценными каменьями,

все эти сокровища, цветы, произведения искусства, которые он дарит мне, говоря при этом: «Елена, ты не бываешь в свете, и я хочу, чтобы свет был у тебя».

— Но на корабле полно мужчин, дерзких, грубых мужчин, страсти которых…

— Я понимаю вас, отец, — усмехнувшись, ответила Елена. — Успокойтесь. Право, императриц не окружают таким почетом, как меня. Они суеверны; они думают, что я — добрый дух корабля, их предприятий, их успехов! Но их бог — *он!* Однажды, — это было лишь раз, — какой-то матрос был недостаточно почтителен со мною… на словах, — прибавила она, смеясь. — И не успело это дойти до Виктора, как экипаж выбросил матроса в море, хотя я и простила его. Они любят меня, как своего ангела-хранителя; стоит им заболеть, я за ними ухаживаю: неустанная женская забота так нужна — мне удалось спасти многих от смерти. Мне жаль этих несчастных — в них есть что-то исполинское и младенческое.

— А если бывают сражения?

— Я привыкла к ним, — ответила она. — Только в первый раз я дрожала. Теперь моя душа закалена в опасностях и даже… Я ведь ваша дочь, — сказала она, — я люблю их.

— А если он погибнет?

— Я погибну с ним.

— А дети?

— Они — сыны океана и опасности, они разделят участь родителей. Жизнь наша едина, мы неразлучны. Все мы живем одной жизнью, все вписаны на одной странице книги бытия, плывем на одном корабле; мы знаем это.

— Так, значит, ты любишь его так беззаветно, что дороже его для тебя нет никого в мире?

— Никого, — повторила она. — Но в эту тайну не стоит углубляться. Взгляните на моего милого мальчугана, ведь это его воплощение!

И, крепко обняв Абеля, она стала осыпать поцелуями его волосы…

— Но, — воскликнул генерал, — мне не забыть, как он сейчас велел сбросить в море девять человек…

— Значит, так было нужно, — ответила она, — он очень добр и великодушен. Он старается пролить как можно меньше крови, чтобы сберечь и поддержать мирок, которому покровительствует, и ради того благородного дела, которое он защищает. Скажите ему о том, что показалось вам дурным, и, вот увидите, он убедит вас в своей правоте.

— А преступление его? — сказал генерал, как бы говоря с собою.

— Ну а если это было правым делом? — промолвила она с холодным достоинством. — Если человеческое правосудие не могло отомстить за него?

— Само правосудие не могло отомстить? — воскликнул генерал.

— А что такое ад, — спросила она, — как не вечное отмщение за какие-нибудь грехи краткой нашей жизни?!

— Ах, ты погибла! Он околдовал, развратил тебя. Ты говоришь как безумная.

— Останьтесь еще с нами хоть на день, отец, и когда вы увидите, услышите его — полюбите его…

— Елена, — строго сказал старик, — мы в нескольких лье от Франции…

Она вздрогнула, посмотрела в окно и указала на беспредельную зеленоватую водную даль.

— Вот моя родина, — ответила она, притопнув ногой по ковру.

— Неужели ты не хочешь повидаться с матерью, сестрой, братьями.

— Конечно, хочу, — ответила она со слезами в голосе, — но только если он согласится и будет

сопровождать меня!

— Итак, Елена, у тебя ничего не осталось, — сурово заключил старый воин, — ни родины, ни семьи?

— Я жена его, — возразила она с гордым видом, с выражением, исполненным благородства. — За все эти семь лет лишь сейчас мне довелось впервые испытать радость, которою я обязана не ему, — добавила она, взяв руку отца и целуя ее, — и впервые услышать упрек.

— А совесть твоя?

— Совесть! Да ведь совесть — это он.

И вдруг она вздрогнула.

— А вот и он сам, — сказала она. — Даже во время боя, сквозь шум на палубе я различаю его шаги.

И щеки ее внезапно зарумянились, все лицо расцвело, глаза заблестели, кожа стала матово-белой… Все существо ее, каждая голубая жилка, невольная дрожь, охватившая ее, — все говорило о счастье любви. Такая сила чувства умилила генерала. И правда, сейчас же вошел корсар и, сев в кресло, подозвал старшего сына и стал играть с ним. С минуту длилось молчание; ибо генерал, поглощенный задумчивостью, подобной сладостной дремоте, рассматривал изящную каюту,

похожую на ласточкино гнездо, где семья эта семь лет плавала по океану, меж небом и волнами, уповая на человека, который вел ее сквозь опасности в боях и бурях, как проводит семью глава ее среди бедствий общественной жизни… Он с восхищением смотрел на дочь, на этот волшебный образ морской богини, пленительно красивый, сияющий счастьем, и все сокровища, рассыпанные вокруг нее, бледнели перед сокровищами ее души, перед огнем ее глаз и той неописуемой прелестью, которой вся она дышала.

Все складывалось необычайно, и это поражало его, а возвышенность чувств и рассуждений вносили сумятицу в его обычные представления. Холодные и себялюбивые расчеты светского общества меркли перед этой картиной. Старый воин почувствовал все это, и он понял также, что дочь его никогда не расстанется со своей привольной жизнью, богатой событиями, наполненной истинной любовью; он понял, что если она хоть раз изведала, что такое опасность, и не устрашилась ее, то уже не пожелает вернуться к мелочной жизни ограниченного и скудоумного света.

— Я вам не помешал? — спросил корсар, прорывая молчание и глядя на жену.

— Нет, — ответил генерал. — Елена мне все рассказала. Я вижу, что для нас она потеряна…

— Подождите, — живо возразил корсар. — Еще несколько лет — и срок давности позволит мне вернуться во Францию. Когда совесть чиста, когда человек, лишь попирая законы вашего общества, может…

Он замолк, не считая нужным оправдываться.

— И вас не мучает совесть? — спросил генерал, прерывая его. — Ведь вы опять, на моих глазах, совершили столько убийств…

— У нас не хватает съестных припасов, — невозмутимо сказал корсар.

— Но вы бы могли высадить людей на берег…

— Они послали бы за нами сторожевой корабль, отрезали бы нам отступление, и мы не добрались бы до Чили…

— Однако, прежде чем они успели бы предупредить из Франции адмиралтейство Испании…

— Но Франции наверняка не пришлось бы по вкусу, что некто, да еще человек, подлежащий ее уголовному суду, завладел бригом, зафрахтованным уроженцами Бордо. Скажите-ка, неужели вам не доводилось на поле битвы делать немало лишних пушечных выстрелов?

Взгляд корсара привел генерала в замешатель-

ство, и он промолчал, а дочь взглянула на него, и взор ее выражал и торжество, и печаль.

— Генерал, — значительным тоном произнес корсар, — мой закон — ничего не присваивать себе из общей добычи за счет товарищей. Но нет никаких сомнений, что моя доля будет гораздо больше, чем отнятое у вас состояние. Позвольте мне возместить его вам другой монетой…

Он взял из-под крышки рояля большую пачку банковых билетов и, не считая их, протянул маркизу — в пачке был миллион.

— Вы понимаете, — произнес он, — что мне нечего делать на путях в Бордо… Итак, если вас не прельщают опасности нашей бродячей жизни, виды Южной Америки, наши тропические ночи, наши сражения и радостная надежда, что мы поддержим знамя молодой республики или имя Симона Боливара, то вам придется нас оставить… Шлюпка и преданные люди ждут вас. Будем надеяться на третье и вполне счастливое свиданье…

— Виктор, а мне так хочется, чтобы отец еще немного побыл с нами, — с досадою промолвила Елена.

— Десять минут промедления — и мы, пожалуй, столкнемся со сторожевым фрегатом. Что ж, тогда позабавимся. А то наши люди скучают.

— О, уезжайте, отец! — воскликнула Елена. — И отвезите вот это сестрице, братьям… и матери… — прибавила она, — на память от меня.

Она схватила пригоршню самоцветов, ожерелий, драгоценностей, завернула их в кашемировую шаль и робко протянула отцу.

— А что же мне сказать им? — спросил он, пораженный тем, что дочь помедлила, прежде чем произнести слово «мать».

— Ах, как можете вы сомневаться в моей душе? Я ежедневно молюсь за их счастье.

— Елена, — сказал старик, пристально глядя на нее, — неужели я не увижу тебя больше? Неужели никогда не узнаю, что́ заставило тебя бежать?

— Это не моя тайна, — ответила она строго, — и даже если бы я имела право раскрыть ее, я бы вам о ней, пожалуй, не поведала. Десять лет меня терзали неслыханные муки.

Она замолчала и протянула отцу подарки для семьи. Приключения на войне приучили генерала к весьма растяжимому понятию о военной добыче, и он принял подарки дочери, с приятностью подумав о том, что под влиянием такой чистой, возвышенной души, как душа его Елены, Парижанин остался честным человеком, что он просто воюет с испанцами. Его пристрастие к

смельчакам восторжествовало. Решив, что было бы нелепо держаться сурово, он крепко пожал руку корсара, обнял Елену, единственную дочь свою, с сердечностью, присущей солдатам, и уронил слезу, осыпая поцелуями ее лицо, горделивое и мужественное выражение которого было ему так мило. Моряк был растроган и подвел к нему своих детей для благословения. Наконец долгим взглядом, не лишенным теплоты и ласки, было сказано последнее прости.

— Будьте счастливы вечно! — воскликнул старик и быстро поднялся на палубу.

Необычайное зрелище ждало генерала на море. «Святой Фердинанд», охваченный пламенем, пылал, как огромный костер. Матросы, собираясь потопить испанский бриг, нашли в его трюме груз рома, а так как рому и на «Отелло» было вдоволь, они потехи ради решили поджечь огромную чашу пунша в открытом море. Вполне понятно, что это забавляло людей, которые пресытились однообразным видом моря и хватались за все, лишь бы приукрасить свое существование. Когда генерал спускался с брига к шлюпке, в которой сидела шестерка крепких гребцов, внимание его невольно рассеивалось, и он то смотрел на огонь, пожиравший «Святого

Фердинанда», то на дочь, которая стояла на корме «Отелло» рука об руку с корсаром. Воспоминания нахлынули на него, и, видя белое платье Елены, развевающееся и легкое, словно парус, различая посреди океана ее стройную и прекрасную фигуру, такую величественную, что, казалось, она господствует над морем, генерал по беспечности, свойственной военным, забыл, что он плывет над могилой храброго Гомеса. Над бригом темной тучей расплывался огромный столб дыма, и солнечные лучи, пронизывая ее то тут, то там, освещали все сказочным сиянием. Словно то было второе небо, мрачный купол, под которым сверкали огни, а над ним раскинулся необозримый лазурный небосвод, казавшийся в тысячу раз красивее благодаря этому мимолетному сочетанию. Необычайные оттенки дыма, то желтые, то золотистые, то красные, то черные, сливались, и он, клубясь, застилал горевший корабль, который трещал, скрипел, стонал. Огонь с рокотом подбирался к снастям и охватывал все судно — так пламя народного восстания разносится по всем улицам города. Ром горел синеватым трепещущим пламенем, будто бог морей помешивал это пьяное зелье, — так студент весело поджигает пунш на какой-нибудь пирушке. Но солнце, свет

которого был ярче, из зависти к этому дерзкому огню затмевало его своими лучами и почти не позволяло различать переливчатые цвета пожара. Будто вуаль, будто прозрачный шарф колыхался посреди огненного потока. «Отелло» убегал в новом направлении, стараясь поймать легкий ветерок, накренялся то в одну, то в другую сторону, словно бумажный змей в воздухе. Красавец бриг, лавируя, бежал к югу; порою он скрывался от взора генерала, исчезая за столбом дыма, бросавшим на воду причудливую тень, порою показывался снова, плавно поднимаясь и убегая все дальше и дальше. Всякий раз, когда Елене удавалось увидеть отца, она взмахивала носовым платком, посылая ему прощальное приветствие. Вскоре «Святой Фердинанд» пошел ко дну, волны ключом забурлили вокруг него, но море тотчас же успокоилось. И не осталось от всей этой картины ничего, кроме облачка, плывшего по ветру. «Отелло» был уже далеко; шлюпка приближалась к берегу; между утлым челном и бригом повисло облако дыма. В последний раз генерал увидел дочь в просвете колыхавшегося дыма. Пророческое видение! Только белый платок, только платье вырисовывались на темном, бурном фоне. Меж зеленой водою и синим небом

уже не было видно брига.

Елена стала чуть приметной точкой, тонким, изящным штрихом, небесным ангелом, мечтой, воспоминанием.

Маркиз, восстановив свое состояние, умер, ибо силы его были подорваны. Несколько месяцев спустя после его смерти, в 1833 году, маркизе пришлось сопровождать Моину на воды в Пиренеи. Там избалованной дочке захотелось увидеть горные красоты, и мать отправилась с нею в горы. Вот какая трагическая сцена разыгралась на следующее утро после их возвращения на курорт.

— Боже мой, — сказала Моина, — напрасно мы не остались еще на несколько дней в горах! Там было гораздо лучше. Вы слышали, мама, как неугомонно, как несносно пищал за стеной ребенок и как болтала какая-то противная женщина. Она изъясняется на каком-то диалекте, и я не поняла ни слова. Ну что у нас за соседи? Я глаз не сомкнула почти всю ночь!

— А я ничего не слышала, — отвечала маркиза, — но, дорогая моя девочка, я попрошу хозяйку гостиницы освободить для нас другую комнату; мы останемся одни, без соседей, и нас не будет беспокоить шум. Как ты себя чувствуешь? Ты не очень утомлена?

С этими словами маркиза подошла к постели Моины.

— А нет ли у тебя жара? — спросила она, притрагиваясь к руке дочери.

— Ах, оставь меня, мама, у тебя холодные пальцы.

И девушка сердито откинулась на подушку, но в ее движении было столько грации, что матери трудно было обидеться. В этот миг из соседней комнаты донесся тихий, протяжный стон; от этого стона дрогнуло бы сердце любой женщины.

— Ты всю ночь слышала стоны и не разбудила меня? Мы бы…

Стон, выражавший невыносимое страдание, прервал речь маркизы; она воскликнула:

— Там кто-то умирает! — и быстро вышла из комнаты.

— Пришли мне Полину, — крикнула ей дочь, — я буду одеваться.

Маркиза торопливо спустилась по лестнице и увидела, что хозяйка гостиницы стоит во дворе и вокруг нее собралось несколько человек — все внимательно слушали ее.

— Сударыня, вы кого-то поместили рядом с нами, и, очевидно, человек этот тяжко болен…

— Ах, и не говорите! — подхватила хозяй-

ка. — Я сейчас послала за мэром. Это женщина, и представьте себе, бедняжка приплелась вчера вечером пешком; она шла из Испании, без денег и без паспорта. Она несла за спиной умирающего ребенка, и у меня духу не хватило прогнать ее. Нынче утром я сама пошла ее проведать, потому что вчера, когда она тут появилась, она разжалобила меня до слез.

Вот ведь бедняжка! Она лежала рядом с сыночком, и оба они были при смерти. «Сударыня, — сказала она мне, снимая с пальца перстень, — больше у меня ничего не осталось, возьмите кольцо в счет уплаты; этого будет достаточно, я здесь пробуду недолго. Бедненький мой сынок! Мы умрем вместе». Вот что она сказала, а сама глаз не сводила с малыша. Взяла я ее кольцо, спросила, кто она такая, но она наотрез отказалась назвать себя… Я тут же послала за лекарем и за мэром.

— Да ведь ей нужно помочь! — воскликнула маркиза. — Сделайте все, что понадобится. Господи, может быть, еще не поздно спасти ее! Я оплачу все расходы…

— Ах, сударыня, она, видно, прегордая, и уж не знаю, согласится ли…

— Я сама пойду к ней.

И маркиза, не медля, поднялась к неизвестной, не подумав о том, какое тяжелое впечатление может произвести ее траурное платье на эту женщину, которая, как говорили, была при смерти. Увидев умирающую, маркиза побледнела. Несмотря на страшные страдания, изменившие прекрасное лицо Елены, она узнала свою старшую дочь!

Когда в дверях появилась женщина в черном, Елена приподнялась, вскрикнула от ужаса и медленно стала опускаться на подушки, узнав в этой женщине свою мать.

— Дитя мое, — промолвила г-жа д'Эглемон, — не нужно ли вам что-нибудь? Полина! Моина!

— Мне уже ничего не нужно, — чуть слышно ответила Елена, — я надеялась увидеть отца, но ваш траур говорит мне…

И, не досказав, Елена прижала ребенка к сердцу, словно хотела согреть его, поцеловала его в лоб, потом посмотрела на мать — глаза ее по-прежнему выражали упрек, но она уже прощала, взгляд стал мягче. Маркизе не хотелось замечать этого упрека, она забыла, что Елена — дочь ее, зачатая в слезах и отчаянии, что она, дитя долга, стала причиной ее самого большого горя: она тихо подошла к умирающей дочери, помня лишь

о том, что Елена первая дала ей познать радость материнства. Ее глаза наполнились слезами, и, обняв дочь, она воскликнула:

— Елена, дитя мое!

Елена молчала. Она прислушивалась к последним вздохам своего последнего ребенка.

В этот миг вошли Моина, ее горничная, хозяйка и врач. Маркиза сжимала холодеющую руку дочери в своей руке и смотрела на нее с искренним отчаянием. Вдова моряка — ей удалось во время кораблекрушения спасти лишь одного ребенка из всей своей счастливой семьи, — доведенная горем до исступления, взглянула на мать, и что-то ужасное было в ее глазах…

— Все это дело ваших рук! Если бы вы были для меня тем, чем вы…

— Моина, уйди!.. Все уходите отсюда! — крикнула г-жа д'Эглемон, стараясь заглушить голос Елены. — Умоляю тебя, дитя мое, не воскрешай сейчас наши печальные размолвки.

— Я буду молчать, — ответила Елена, делая над собою нечеловеческое усилие. — Я ведь мать, я знаю, что Моина не должна… Но где мой ребенок?

Моина вернулась, подстрекаемая любопытством.

— Сестрица, — проговорила избалованная девушка, — вот доктор…

— Ничто уже не поможет, — произнесла Елена. — Ах, зачем я не умерла в шестнадцать лет, — ведь тогда я хотела покончить с собою… Вне законов нет счастья! Моина… Ты…

Она умерла, склонив голову к головке своего ребенка, сжимая его в объятиях.

Вернувшись к себе в комнату, г-жа д'Эглемон сказала, заливаясь слезами:

— Твоя сестра, должно быть, хотела тебе сказать, что для девушки счастье в любви невозможно вне общепринятых законов, а главное — вдали от матери.

VI
Старость преступной матери

Однажды полуденной порою, в начале июня 1844 года, в саду, раскинувшемся вокруг большого особняка на улице Плюме в Париже, по аллее, залитой солнцем, ходила взад и вперед немолодая женщина; ей было лет под пятьдесят, но казалась она старше своего возраста. Она прошлась два-три раза по извилистой дорожке, никуда не сворачивая, чтобы не терять из виду окон тех покоев особняка, которые, видимо, привлекали все ее внимание, и села в садовое кресло, сплетенное из молодых веток, покрытых корою. С того места, где стояло это изящное кресло, через решетчатую ограду ей были видны внутренние бульвары и посреди них — великолепное здание Дома инвалидов, вздымающее ввысь свой золоченый купол над целым морем вязов, а вокруг нее была менее величавая картина — сад, раскинувшийся перед серым фасадом одного из самых красивых особняков Сен-Жерменского предместья. Все было объято тишиною — соседние сады, бульвары, Дом инвалидов: в этом аристократическом квартале

жизнь пробуждается лишь к полудню. Если не чья-нибудь причуда, если только не вздумает какая-нибудь молоденькая дама покататься верхом или какой-нибудь старый дипломат исправить деловую бумагу, то в этот час все здесь еще спит или только пробуждается: и челядь, и господа.

Пожилая дама, вставшая спозаранку, была маркизой д'Эглемон, матерью г-жи де Сент-Эрен, владелицы этого особняка. Маркиза отказалась от него в пользу дочери, которой отдала и все свое состояние, оставив себе лишь пожизненную пенсию. Графиня Моина де Сент-Эрен была младшей дочерью г-жи д'Эглемон. Чтобы выдать ее замуж за наследника одного из самых прославленных родов Франции, мать пожертвовала всем. Это было так естественно — она потеряла одного за другим двух своих сыновей: Гюстав, маркиз д'Эглемон, умер от холеры; Абель был убит в сражении у Константины. После Гюстава остались вдова и дети. Г-жа д'Эглемон не питала особенной нежности к своим сыновьям, а к внукам тем более. Она была внимательна к молодой маркизе, вдове своего сына, но то было чисто внешнее проявление чувств, предписываемое нам воспитанием и приличиями. Она привела в образцовый порядок состояние своих умерших

детей, а своей любимице Моине отдала собственные сбережения и поместья. С самого детства Моина была хороша собою, обаятельна, и г-жа д'Эглемон любила ее больше других детей — такое душевное, невольное предпочтение присуще бывает матерям; это роковое влечение как будто необъяснимо, но человек наблюдательный объяснит его отлично. Пленительное личико Моины, звук голоса любимой дочки, ее манеры, походка, весь ее облик, движения — все пробуждало в маркизе ту глубокую нежность, которая волнует, оживляет и умиляет материнское сердце. Смысл жизни ее в настоящем, жизни в будущем и всей прожитой жизни заключался в сердце этой молодой женщины, которому она отдала все сокровища своей материнской любви. Моина была единственным утешением г-жи д'Эглемон, которая потеряла четырех старших детей.

В самом деле, она, как говорили в свете, при самых трагических обстоятельствах лишилась красавицы дочери, участь которой так и осталась неизвестной, и пятилетнего мальчика, погибшего от какого-то несчастного случая. Маркиза, разумеется, видела предзнаменование свыше в том, что судьба оказалась милостивой к ее любимице, и хранила лишь смутное воспоминание о своих

детях, уже унесенных смертью; в глубине ее души они были как могильные холмы на поле брани, которых почти не видно: так заросли они полевыми цветами. Свет мог бы сурово потребовать от маркизы объяснения причин такого легкомыслия и такого предпочтения, но парижане до того захвачены вихрем событий, модами, новостями, что о прошлом г-жи д'Эглемон, вероятно, почти не вспоминали. Никто и не думал осуждать ее за то, что она была холодна к своим детям и быстро забыла их, да никого это и не волновало; зато ее беззаветная любовь к Моине умиляла многих, и это чувство уважали, как уважают иной предрассудок. К тому же маркиза редко появлялась в свете, а почти во всех знакомых домах она слыла доброй, кроткой, благочестивой, снисходительной. Только наблюдатель, любопытство которого живо затронуто, старается узнать, что же таится за теми внешними проявлениями чувств, которыми довольствуется свет. Притом многое прощается старикам, которые отодвигаются в тень и хотят стать лишь воспоминанием. Словом, на г-жу д'Эглемон, как на достойный образец, с готовностью ссылались дети, говоря с отцами, а зятья — говоря с тещами. Ведь она при жизни отдала все свое состояние Моине и, радуясь счастью

молодой графини, жила только ею и ради нее. Иные предусмотрительные старики, несносные дядюшки, от которых ждут наследства, порицали ее за такую неосторожность, уверяя, что «наступит день, когда госпожа д'Эглемон, быть может, раскается, что она отдала дочери все свое состояние. Если она даже уверена в добром сердце госпожи до Сент-Эрен, то может ли она положиться на своего зятя». Однако речи таких пророков встречались возгласами негодования, и все рассыпались в похвалах Моине.

— Надо отдать справедливость графине де Сент-Эрен, — говорила одна молодая женщина, — мать ее ведет прежний образ жизни. У госпожи д'Эглемон великолепные покои; к ее услугам экипаж, и она может выезжать в свет, как бывало.

— Только не в Итальянскую оперу, — вполголоса заметил некий старый бездельник, один из тех прихлебателей, которые считают, что они вправе осыпать друзей язвительными насмешками, чтобы доказать этим свою независимость. — Госпожа д'Эглемон из всего, что не имеет отношения к ее избалованной дочери, только музыку и любит. Какой прекрасной музыкантшей была она в свое время! Но ложу графини всегда осаждают молодые ветрогоны, а бедняжка маркиза боится

стать помехой для своей доброй доченьки, которая слывет злой кокеткой. Поэтому госпожа д'Эглемон никогда не бывает в Опере.

— Госпожа де Сент-Эрен, — говорила девушка на выданье, — устраивает для своей матери дивные вечера, у нее салон, где бывает весь Париж.

— Салон, где никто и внимания не обращает на маркизу, — возразил прихлебатель.

— Госпожа д'Эглемон никогда не остается одна, это сущая правда, — вставил какой-то франт, поддерживая молодых дам.

— По утрам душечка Моина спит, — говорил старый сплетник, понизив голос. — В четыре часа душечка Моина выезжает в Булонский лес. По вечерам душечка Моина отправляется на бал или в Итальянский театр… Правда, госпожа д'Эглемон может видеть свою душечку, когда та одевается или за обедом, если душечка Моина случайно обедает дома со своей любимой мамашей. Неделю тому назад, сударь, — сказал прихлебатель, подхватывая под руку застенчивого учителя, только что поступившего в дом, где происходил этот разговор, — я был у них и застал бедную мать в печальном одиночестве, у камина. «Что с вами?» — спросил я. Маркиза посмотрела на меня с улыбкой, а глаза у нее были заплаканные.

«Я размышляла, — отвечала она. — Как странно, — ведь у меня было пятеро детей, а я иногда совсем одинока. Но уж таков наш удел! К тому же для меня отрада, что моя Моина веселится». Она могла говорить со мной откровенно — я знавал ее мужа. Заурядный был человек, ему повезло, что он женился на такой девушке. Разумеется, только ей он обязан тем, что стал пэром и придворным Карла Десятого. Но в болтовне светских людей столько ошибочных суждений, с такой беспечностью наносят они глубокие душевные раны, что историк нравов обязан разумно взвешивать легкомысленные мнения, высказанные легкомысленными людьми. Да и вообще, как судить о том, кто виноват, кто прав: мать или ее дитя? Над их сердцами есть лишь один судья. Судья этот — Бог. Бог, который часто простирает возмездие свое в лоно семьи, восстанавливает детей против матерей, отцов против сыновей, народы против королей, владык против подданных, все сущее против всего сущего; который в мире духовном заменяет одни чувства другими, подобно тому как весною молодые листья вытесняют старые, и который действует во имя непреложного порядка, во имя цели, ведомой лишь ему. Без сомнения, все направляется в лоно его или, вернее, туда

возвращается.

Благочестивые размышления эти, естественные в преклонном возрасте, бессвязно теснились в душе г-жи д'Эглемон; они реяли в какой-то полутьме, то исчезали, то рисовались отчетливо, словно цветы, которые буря разметала на поверхности вод. Она сидела утомленная, опечаленная долгими размышлениями, воспоминаниями, в которых перед человеком, предчувствующим близкую кончину, встает вся минувшая жизнь.

Если бы какой-нибудь поэт, прогуливаясь в тот час по бульвару, заметил эту женщину, к которой так рано пришла старость, он решил бы, что она прелюбопытный персонаж. Всякий, кто увидал бы, как она сидит в полуденный час в кружевной тени акации, многое прочел бы по ее лицу, холодному и бледному даже под знойными лучами солнца. Выразительные черты ее отражали нечто более значительное, нежели ее жизнь, подходившую к концу, нечто более глубокое, нежели душу ее, измученную испытаниями. Ее лицо принадлежало к тому типу лиц, на котором вы, оставив без внимания множество других физиономий, лишенных своеобразия, задержите на миг свой взор и задумаетесь; так в Лувре среди множества картин на вас про-

изведет захватывающее впечатление только величавый, проникнутый материнской скорбью облик, созданный кистью Мурильо, или лицо Беатриче Ченчи, которому Гвидо сумел придать самое трогательное выражение невинности, не стертое страшным преступлением, или творение Веласкеса, запечатлевшее угрюмые черты Филиппа II, которые дышат царственным могуществом, вселяющим ужас. Иные человеческие лица становятся властителями наших дум, они говорят с нами и вопрошают нас, отвечают на наши тайные мысли и даже представляются нам целой поэмой. Застывшее лицо г-жи д'Эглемон казалось одним из тех бесчисленных и страшных образов, что теснятся в «Божественной комедии» Данте Алигьери.

В быстролетные годы расцвета женской красоты она отлично служит притворству, к которому вынуждает женщину ее природная слабость и законы нашего общества. Чудесный, свежий цвет лица, блеск глаз, изящный рисунок тонких черт, богатство линий, резких и округлых, но чистых и совершенно законченных, — завеса для всех ее сокровенных волнений; если она покраснеет, это не выдаст движения ее души, а только оживит и без того яркие краски; огонь ее глаз, горящих

жизнью, в ту пору скрадывает все внутренние вспышки, и пламя страданий, вырываясь на миг, делает ее еще пленительнее. Итак, нет ничего более непроницаемого, чем молодое лицо, ибо нет ничего неподвижнее. Лицо молодой женщины безмятежно, гладко, ясно, как поверхность дремлющего озера. Своеобразие начинает появляться в женском лице лишь к тридцати годам. До этого возраста художнику не найти в нем ничего, кроме бело-розовых красок, улыбок и выражения, которое повторяет одну и ту же мысль — мысль о радостях молодости и любви, мысль однообразную и неглубокую; но в старости, когда женщина все уже испытала, следы страстей словно врезаются в лицо ее; она была любовницей, супругой, матерью; самые сильные проявления счастья и горя в конце концов меняют облик человека, искажают черты, бороздя лицо неисчислимыми морщинами, наделяя каждую из них своим языком; и женщина становится тогда величественной в своем страдании, прекрасной в печали своей, великолепной в своей невозмутимости, и если нам позволено будет развить наше необычайное сравнение, то в высохшем озере станут тогда видны следы всех родников, питавших его; тогда лицо женщины уже не

привлечет внимания света, ибо в легкомыслии своем свет будет напуган тем, что разрушены его привычные понятия о красоте; не привлечет оно и посредственного, ничего не смыслящего художника, зато вдохновит истинного поэта, того, кто наделен чувством прекрасного, кто свободен от всех условностей, на которых зиждется столько ложных понятий об искусстве и красоте. Госпожа д'Эглемон была в модном капоре, но все же было заметно, что волосы ее, некогда черные, поседели от душевных тревог; они были разделены пробором, и прическа ее, говорившая об отменном вкусе, обнаруживавшая изящные привычки светской женщины, не закрывала увядший, морщинистый лоб, сохранивший свою прекрасную форму. По тонким, правильным чертам, по овалу лица еще можно было представить себе, как она была хороша собою прежде; должно быть, она некогда гордилась этим; но сколько тут было примет, которые возвещали о горестях, истомивших ее душу: лицо стало морщинистым, кожа на висках иссохла, щеки впали, веки опухли, а ресницы, это очарование взора, поредели.

В ней было что-то замкнутое; ее сдержанность, величавая плавность ее поступи и движений внушали почтение. Скромность ее, превратив-

шаяся в смирение, видимо, была порождена многолетней привычкой всегда держаться в тени ради дочери; и говорила она мало, тихо, как все люди, которые сосредоточенно размышляют, живут своею сокровенной жизнью. Поза ее и вся ее внешность вызывали неизъяснимое чувство — не было оно ни страхом, ни состраданием, но в нем таинственно сочетались все ощущения, которые определяются этими столь различными понятиями. Наконец, сами морщины ее, складки, избороздившие лицо, потухший, страдальческий взор — все красноречиво свидетельствовало о слезах, которыми переполнено сердце и которые никогда не увлажняют глаз. Люди несчастные, привыкшие взывать к небу с мольбой об утешении в горестях жизни, сразу бы распознали по взгляду этой женщины, что и для нее молитва является единственным прибежищем в повседневных страданиях и что у нее еще кровоточат те тайные раны, от которых гибнут все цветы души, вплоть до материнских чувств. У живописца есть краски для таких портретов, но никакими словами не передать их; сущность лица, его выражение — само по себе явление необъяснимое, и лишь зрение помогает нам уловить его; у писателя есть только один способ дать пред-

ставление о страшных переменах, происшедших во внешности его героев: он должен рассказать о тех событиях, из-за которых они появились. Все в этой женщине говорило о бесшумной ледяной грозе, о тайной борьбе между героизмом страдающей матери и убожеством наших чувств, недолговечных, как и мы сами, в которых нет ничего вечного. Страдания эти, беспрестанно подавляемые, в конце концов подорвали ее здоровье. Без сомнения, глубокие материнские муки физически изменили ее сердце; болезнь, вероятно аневризм, медленно подтачивала маркизу д'Эглемон, но она и не думала об этом. Истинная скорбь покоится в глубоком тайнике, уготовленном ею для себя, и будто спит там, но на самом деле постепенно снедает душу, как та ужасная кислота, что разрушает кристалл. Вот две слезинки скатились по щекам маркизы, и она поднялась, точно какая-то мысль, еще более тягостная, чем все остальные, причинила ей душевную боль. Она, конечно, раздумывала о будущем Моины, предвидела все несчастья, которые суждены ее дочери, на нее нахлынули воспоминания о всех бедах, выпавших ей самой в жизни, и сердце ее сжалось.

Тревога матери будет понятна, когда мы объяс-

ним, в каком положении находилась ее дочь.

Граф де Сент-Эрен уехал полгода назад с дипломатической миссией. Пока его не было, Моина, у которой тщеславие светской модницы сочеталось с прихотями избалованного ребенка, развлекалась тем, что, по легкомыслию ли или повинуясь женскому кокетству, а может быть, чтобы испытать власть своих чар, вела интригу с одним ловким и бессердечным молодым человеком, уверявшим ее, будто он теряет рассудок от любви; с такой любовью, однако, отлично уживаются мелкие тщеславные побуждения светского фата. Долгий опыт научил г-жу д'Эглемон разбираться в жизни, правильно судить о людях, опасаться света; она следила за ходом этого романа и предчувствовала, что дочь погубит себя, что она попала в сети к человеку, для которого нет ничего святого. Да и как было ей не страшиться, зная, что человек, которому Моина так радостно внимает, — *распутник.* Итак, ее любимая дочка стояла на краю пропасти. Г-жа д'Эглемон была глубоко уверена в этом, но не решалась остановить дочь — Моина внушала ей робость. Она заранее знала, что дочь и слушать не станет ее мудрых предостережений; она не имела никакой власти над этой душою, железной по отношению

к ней, мягкой ко всем другим. Она так обожала дочку, что, вероятно, с участием отнеслась бы ко всем треволнениям ее любви, если бы могла найти ей оправдание в благородном характере обольстителя, но Моине просто хотелось пококетничать, а маркиза презирала графа Альфреда де Ванденеса, угадывая, что он смотрит на свою интрижку с Моиной как на партию в шахматы. Альфред де Ванденес вызывал отвращение у этой несчастной матери, но ей приходилось утаивать главные причины своей нелюбви к нему. С маркизом де Ванденесом, отцом Альфреда, у нее были близкие отношения; дружба эта, к которой свет относился с уважением, позволяла теперь молодому человеку запросто приходить к г-же де Сент-Эрен, и он уверял, что влюблен в нее с детства. Впрочем, г-же д'Эглемон не удалось бы вознести преграду между дочерью и Альфредом де Ванденесом, даже если бы она вымолвила то ужасное слово, которое должно было бы разлучить их; она знала, что ничего не добьется, невзирая на силу этого слова, которое обесчестило бы ее в глазах дочери. Альфред был чересчур испорчен, Моина — чересчур лукава, чтобы поверить этому откровенному признанию, и молодая графиня, пожалуй, не посчиталась бы с

ним, думая, что мать хитрит. Г-жа д'Эглемон сама воздвигла себе темницу, замуровала себя в ней и должна была умереть, видя, как губит свою прекрасную молодую жизнь ее Моина, ее гордость, счастье и утешение, ибо жизнь Моины была для нее неизмеримо дороже, нежели ее собственная. Какие ужасные, невероятные, безмолвные муки! Какая бездонная пучина!

Она нетерпеливо ждала, когда же наконец дочь проснется, и страшилась этого, словно приговоренный к смерти, который хочет покончить счеты с жизнью, но содрогается при мысли о палаче. Маркиза решилась на последний шаг; но, быть может, она боялась не того, что попытку ее постигнет неудача, а что сердце ее будет уязвлено, и это лишало ее мужества; вот до чего дошла она в своей материнской любви: она обожала дочь и боялась ее, страшилась удара кинжала и подставляла ему свою грудь. Материнское чувство беспредельно, и сделать равнодушным сердце матери может только смерть или сила какого-нибудь иного тиранического чувства: религии или любви. С самого утра беспощадная память рисовала маркизе немало событий прошлого, как будто незначительных, но играющих огромную роль в нашей внутренней жизни. В самом деле,

порою довольно одного жеста — и разыграется целая трагедия; довольно одного слова — и жизнь будет разбита; довольно одного безразличного взгляда — и будет убита самая пылкая страсть. Маркиза д'Эглемон видела чересчур много таких жестов, слышала чересчур много таких речей, ловила чересчур много взглядов, терзающих душу, и не могла почерпнуть надежду в своих воспоминаниях. Все доказывало, что Альфред вытесняет ее из сердца дочери, что она, мать, не на радость дочери занимает место в ее сердце, а в тягость ей; множество наблюдений, множество мелочей говорило о том, как дурно относится к ней Моина, и неблагодарность эту мать принимала как возмездие. Она старалась найти оправдание для своей дочери, говоря себе, что в этом — воля провидения, и благословляла руку, ударявшую ее. В то утро ей вспомнилось многое, и на сердце у нее было так тягостно, что от малейшего огорчения чаша ее страданий могла переполниться. Холодный взгляд, пожалуй, убил бы маркизу. Описывать все эти семейные дела трудно, но, право, достаточно рассказать о двух-трех случаях, чтобы все стало понятно. Так, например, маркиза стала плохо слышать, но никак не могла добиться, чтобы Моина громче говорила с нею; однажды,

когда г-жа д'Эглемон простодушно, как это бывает с глухими, попросила дочку повторить фразу, которую не расслышала, графиня повиновалась, но вид у нее был такой недовольный, что мать никогда больше не обращалась с этой скромной просьбой; теперь, когда Моина рассказывала о чем-нибудь или просто разговаривала, маркиза старалась держаться к ней поближе; но нередко дочь раздражал недуг матери, и она, в легкомыслии своем, осыпала ее упреками; эта обида — а подобных ей было множество — жестоко уязвила материнское сердце. Все эти наблюдения ускользнули бы от взора постороннего человека, ибо такие черточки улавливает лишь женский глаз. Так, однажды, когда г-жа д'Эглемон сказала дочери, что ее навестила княгиня де Кадиньяи, Моина воскликнула: «Как, неужто она приехала именно к вам?» Графиня произнесла эти слова с таким видом, таким тоном, что в них чуть приметно, но явно прозвучало высокомерное удивление и презрение — оно навело бы молодых и сердечных людей на мысль о том, как человечно поступают дикари, убивая стариков, если они не удержатся за ветку дерева, когда его раскачивают изо всех сил.

Г-жа д'Эглемон встала, улыбнулась и ушла,

чтобы втихомолку поплакать. Люди хорошо воспитанные, и особенно женщины, скрытны в проявлении своих чувств, и о волнении их сердца догадается лишь тот, кому довелось испытать в жизни все, что испытывала исстрадавшаяся мать. И вот, сидя в саду, г-жа д'Эглемон, подавленная воспоминаниями, плакала, припоминая все эти случаи, как будто незначительные, но причинявшие ей горькую обиду, больно ранившие ее сердце; и никогда прежде с такой силою они не свидетельствовали о том, что за милыми улыбками Моины скрывается бессердечие и пренебрежение к матери. Но лишь только она услышала, что в спальне дочери открываются ставни, слезы на глазах у нее высохли, и г-жа д'Эглемон быстро пошла к заветным окнам по дорожке, окаймлявшей решетку, возле которой только что сидела. Мимоходом она заметила, что садовник с необычайным рвением посыпает песком запущенную аллею. Когда г-жа д'Эглемон подошла к окну, ставни внезапно захлопнулись.

— Моина! — окликнула она.

Никто не ответил.

— Их сиятельство в маленькой гостиной, — сказала горничная, когда маркиза вошла в покои дочери и спросила, встала ли она.

У г-жи д'Эглемон было так тяжело на сердце, голова ее была так занята мыслями, что она не обратила внимания на все эти мелкие, но странные обстоятельства; она торопливо прошла в гостиную и действительно застала там графиню; Моина была в пеньюаре, в чепчике, небрежно накинутом на разметавшиеся волосы, в ночных туфлях; к поясу у нее был привязан ключ от спальни; лицо ее пылало гневным румянцем. Она сидела на диване и, казалось, о чем-то раздумывала.

— Кто вас звал? — сердито спросила она. — Ах, это вы, маменька, — заметила она, как будто смутившись.

— Да, дитя мое, это я.

Выражение, с которым г-жа д'Эглемон произнесла это, говорило о желании излить душу, о том внутреннем волнении, которое нельзя передать иными словами, как «святое волнение». В самом деле, священный долг матери властно руководил ею; дочь в изумлении обернулась, и на лице ее отразилось чувство уважения, стыд и тревога. Маркиза затворила дверь; чтобы попасть в гостиную, надо было пройти не одну комнату, и шаги были бы слышны. Уединенность предохраняла от нескромного любопытства.

— Дочь моя, — начала маркиза, — мой долг — открыть тебе глаза… Тебе грозит опасность, пожалуй, самая большая опасность в жизни женщины. Вероятно, ты нечаянно попала в такое положение. Я хочу поговорить с тобою как друг, а не как мать. Выйдя замуж, ты стала госпожой своих поступков, ты отдаешь отчет в них только мужу… Но ты так редко чувствовала власть матери (и это, пожалуй, моя ошибка), что я считаю себя вправе потребовать, чтобы ты хоть раз прислушалась к моим словам, ибо сейчас тебе необходим мой совет. Послушай, Моина, я выдала тебя замуж за человека одаренного, которым ты можешь гордиться, ты…

— Маменька, — прервала ее Моина с упрямым видом, — я знаю, о чем вы намерены говорить со мной. Вы собираетесь увещевать меня и бранить Альфреда…

— Вы бы этого не угадали, Моина, — строго заметила маркиза, еле удерживая слезы, — если бы сами не чувствовали, что…

— О чем вы говорите? — надменно переспросила графиня. — В конце концов, маменька…

— Моина, — воскликнула г-жа д'Эглемон, делая усилие над собою, — вы должны внимательно выслушать то, что я обязана сделать.

— Слушаю, — проговорила графиня, скрестив руки, и в ее деланой покорности было что-то вызывающее. — Позвольте мне только, маменька, — добавила она с удивительным хладнокровием, — позвонить Полине и отослать ее.

Она позвонила.

— Дорогая, ведь Полина не может услышать наш разговор…

— Маменька, — прервала ее графиня таким многозначительным тоном, что мать изумилась, — я должна…

Она умолкла: вошла горничная.

— Полина, сходите *сами* к Бодрену и узнайте, отчего до сих пор мне не прислали шляпку…

Она снова уселась и пристально посмотрела на мать. Сердце маркизы сжалось, глаза ее были сухи, она испытывала то волнение, горечь которого поймет лишь мать; она заговорила об опасностях, ожидавших ее дочь. Но оттого ли, что графиня сочла себя оскорбленной подозрениями, которые мать ее питала к сыну маркиза де Ванденеса, или оттого, что не совладала с непостижимым сумасбродством юности, она воспользовалась тем, что мать замолчала, и заметила, принужденно рассмеявшись:

— А я-то воображала, маменька, что вы ревнуе-

те только к его отцу.

При этих словах г-жа д'Эглемон закрыла глаза, опустила голову и, тихонько вздохнув, возвела взор кверху, как бы покоряясь непреодолимому чувству, заставляющему нас призывать небо в те минуты, когда в нашей жизни совершаются большие события; затем она перевела взгляд на дочь, взгляд, полный гневного величия и глубокой печали.

— Дочь моя, — промолвила она изменившимся, скорбным голосом, — вы безжалостны к своей матери, безжалостнее, нежели человек, оскорбленный ею; быть может, более безжалостны, чем предстоящий мне суд божий.

Госпожа д'Эглемон встала; у дверей она обернулась, но, заметив в глазах дочери одно лишь удивление, вышла и еле добрела до сада; здесь силы покинули ее. Она почувствовала острую боль в сердце и опустилась на скамейку. Ее взгляд блуждал по песку, и она заметила свежий след, явственный след от изящных мужских сапог. Сомнения не было, ее дочь погибла, — маркиза поняла, какое поручение было дано Полине. И за этой страшной догадкой всплыла другая, и была она мучительнее всех остальных. Она поняла, что сын маркиза де Ванденеса уничтожил в сердце

Моины уважение, которое дочь должна питать к матери. Ей становилось все хуже, она незаметно для себя потеряла сознание и словно заснула. Молодая графиня нашла, что мать держалась с нею слишком резко, но решила, что следует пойти на примирение, а для этого вполне достаточно быть поласковее и повнимательнее с нею сегодня вечером. Из сада донесся женский крик, и она лениво выглянула в окно как раз в ту минуту, когда Полина, которая еще не успела уйти, подхватила на руки г-жу д'Эглемон и звала на помощь.

— Не испугайте дочь, — вот последние слова, произнесенные маркизой д'Эглемон.

Моина видела, что несут ее мать, бледную, недвижимую, что она дышит с трудом, но шевелит руками, будто старается оттолкнуть что-то, и пытается что-то сказать. Моина, потрясенная этой картиной, вышла навстречу, молча помогла уложить мать на свою постель, раздеть ее. Она чувствовала свою вину, и это угнетало ее. В смертный час матери она поняла ее, но непоправимое уже совершилось. Ей хотелось остаться наедине с матерью; когда все ушли из комнаты, она прикоснулась к холодеющей руке, всю жизнь ласкавшей ее, и залилась слезами. Ее слезы привели маркизу в сознание, она собрала

последние силы и взглянула на свою дорогую Моину; и когда из нежной полуобнаженной груди Моины вырвались громкие рыдания, она улыбнулась своей дочке. Улыбка эта доказала молодой матереубийце, что материнское сердце — бесконечное всепрощение.

Лишь только в доме стало известно о состоянии маркизы, послали верховых за доктором, фельдшером и за внуками г-жи д'Эглемон. Молодая маркиза с детьми приехала в одно время с врачами; собралось довольно много народу — родственники, слуги; все были встревожены и молчали. Из спальни не доносилось ни звука; молодая маркиза тихонько постучала в дверь. Моина, очнувшись от тягостных дум, распахнула двери, обвела помутившимся взглядом собравшихся, и ее удрученный вид был выразительнее любых речей. Никто не вымолвил ни слова, когда появилось это воплощение раскаяния. Все увидели ноги маркизы, окоченевшие, вытянувшиеся на смертном одре. Моина прислонилась к косяку двери, посмотрела на родственников и глухо сказала:

— Я лишилась матери!..

Париж, 1828–1844 гг.